

Н. БРОМЛЕЙ



ПОТОМОК ГАРГАНТЮА



ФЕДЕРАЦИЯ

1930

Н. БРОМЛЕЙ

ПОТОМОК
ГАРГАНТЮА

РАССКАЗЫ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ФЕДЕРАЦИЯ»
АРТЕЛЬ ПИСАТЕЛЕЙ «КРУГ»
МОСКВА — 1930

*Обложка работы
В. А. Фаворского
(гравюра на дереве)*

14-ая типография
«Мосполиграф»
Варгунихина гора 8.
Главлит № А 29906
Тираж 4.000
Заказ № 2670
Фосп 275

ПОТОМОК ГАРГАНТЮА

*Повесть бывшего лейтенанта королевских драгун
Камрада Тейфельспферда*

ПУТЕШЕСТВЕННИК

Мои предки кочевали долго, пока не прошли по следам Цезаря до Лютеции, переплыли Рейн и некоторое время держали в своей власти лесные пастбища Тюрингии. Отец мой был из Мейринген, пегий красавец, копыта — с голову трехлетнего ребенка, боец и законодатель стад.

История лжива и слепа и не рассказывает о вещах наиболее глубоких. Я позволю себе восстановить часть истины. Ежели нрав мой гневен, то я обязан этим лжи и грязному салу привычек, которыми история и жизнь людей заправлены не в меру обильно.

Мои предки принимали ближайшее участие в переселении народов; иные из них были из числа великих еретиков. Кентавр Хеллер был другом Иоанна Гуттенбергского и первым наборщиком в городе Адлерберг, а прапрабабушку мою Гроссе

Туте сожгли на костре инквизиции. Впрочем, за-долго до сожжения эта знаменитая прама-терь по-дарила наш род пышным потомством, которым мы обязаны встрече ее в Арденнских лесах с великим Гаргантюа, да прославится в веках имя его! Это лучшее украшение моей родословной, и я, отдаленный потомок героя, чту в себе силу природных страстей, грубоватую правдивость и безгрешное сладострастие речи: обогатившие мою кровь, да-ры великого предка.

В конце восемнадцатого столетия я лично имел две встречи с Вольфгангом Гёте, но в то время он показался мне пресен и не в меру учен и в то же время я тяжело заболел и тогда начались мои странствования во времени и пространстве.

Я был болен недугом расщепления идей, но не хочу уподобляться тем, кто хвастает тяжестью своих недугов и поет в уши людям о вещах, для них малоинтересных. Скажу только, что социальная несправедливость и нищая скудость методологии наук вогнали меня в такую лихорадку, как если бы я проспал в марте месяце ночь на болоте. Что касается моей личной жизни, то была она жалка совершенно и подрывала в конец мой горячий дух и мощностъ моей корпуленции. Наш мир человекозверей перестал мне казаться гармоничным и женщины с кобыльим туловищем внушали мне тяжелое чувство несуразности.

Правда, они давно уже не рождали подобного нам потомства, но благодаря раз'единению, царившему в природе, принуждены были в конце каждой беременности удаляться в ненаселенные места, где жеребилились, рождая коней без признаков человечности, если не считать отдельных плешин на конском их теле и формы и выражения глаз.

Итак, я отверг порядок и границы, предназначенные стихийным существам, и помчался в страну запрета. Мало того, что меня осудили все реакционные стихии, но еще всюду гонялась за мной короткохвостая земная мысль и, поймав, студила, превращая в простой камень. Дождь, сопровождаемый градом, захлестывал меня в кровь, ветер, чернея, мутил мне зрение и человечья печень во мне выделяла горечь, я сплевывал желтую пену. Четырежды я был остановлен в своем пути. Первый раз я зарос травами, однажды окаменел, затем переплываю море, и конница вод берет меня в плен и надолго, и я превращаюсь в рыжие волны, подобные размытой шерсти. Наконец я впал в продолжительный сон. Но раздражаемое препонами вечное стремление возрастало во мне с такой силой, что весь я внутри был как крутящийся ураган, каждая моя частица вертелась и визжала, и этот смерч воли вырвал меня из плена стихий и короткохвостой мысли.

В эту минуту, стоя перед высокой конторкой ясеневое дерева, я несколько стесняюсь странностей моего рассказа, но весь смысл его как раз коснется того, как были нарушены монотонность, упорство и одиночество стихий и как с течением времени они вместе со мной приняли участие в делах людей, приблизившихся к истине.

Проснувшись, я долго плясал на месте, потрясая боками, чтобы сбросить с себя оцепенение. Отросшие космы волос закрывали мне лицо и были полны сухой листвы, так как я проспал два листопада. Я собрал волосы и, закатав под затылок, приколот их ножом; нож заржавел до красноты.

Место моего усновения пахло гнилым хлебом и я покинул его поспешно; я вырвал из земли копыта, к которым присосались корни растений.

Найдя реку, я вошел в нее и долго отчищал ржавой скребницей свои бока от старой шерсти и в то же время еще продолжал залиvisto храпеть.

Итак, я основательно выпался после дальнего переезда. Дело было летом.

Даже сдвинувшись наконец с места, я все еще продолжал спать. Как я спал! Так спят после запоя, так спят роженицы и так спят новорожденные. Еще недели прошли в спячке, я ел, не просыпаясь, и мылся дважды в неделю с дикими зевками, прерываемыми густым храпом.

Я пробуждал себя собственным сонным ревом и щелканьем моих зевающих челюстей. Но в то время, как голова моя полна была сном, ноги, давно отдохнув, несли меня по дорогам, ибо я пешеход по призванию.

Наконец, разглядев полынь и легкую желтизну созревших стеблей, и цвет куколя, я понял, что свобода моя со мной и об'ял блаженной мыслью пьянящий кругозор летнего пейзажа.

КОСОГЛАВЫЙ ПРЕДАТЕЛЬ

В конце июня к вечеру я увидел наконец город, над которым воздух колебался, разделяясь огромными пластами и я, прервав свой бег в темноте, спросил прохожего: «Что произошло в этой стране?» — и он ответил: «Здесь было великое восстание», и прошел, приняв меня за простого всадника.

Между тем я был голоден и в мое левое переднее копыто засела острая заноза, от которой при наступившей темноте я не мог освободиться.

Посреди одного из пригородных садов, примыкавших к озеру, я увидел дом каменной кладки с дощатым верхом, откуда из двух больших окон бил сильный желтый свет в гущу садовых яблонь. Яблоки были еще не сняты. Я вошел в сад, отведал яблок, и став в луче света, занялся занозой, мучившей меня с вечера.

«Никого нет. Пасется одна лошадь»,— сказал голос и я увидел несколько человек у садового стола. Один из них, закрытый капюшоном, стегнул меня вдоль бедер и я отпрянул в тень, гневно трепеща.

Двое сидели, остальные, стоя, наклонялись к столу. Позади темных деревьев из воды поднималась заря и при свете ее я разглядел говоривших.

Приземистый горбился, закрыв лицо руками, к нему наклонялись стоявшие перед ним.

«Ее величество»,— сказал один из них,— но долговязый прервал его словами: «Я говорю тебе, кузен: она так зла, твоя Литти, что не чувствует голода, она хорошеет от бешенства и возненавидела своих детей за то, что они больше не принцы. Ваши дети — дрянь, говоря между нами, кузен. И если мы восстановим трон, мы это сделаем не ради них, а ради нас с вами, если вам так будет угодно».

Тот простонал: «Рейнеке! о боже!» а стоявшие вокруг прошептали: «Не принимайте так близко к сердцу, ваше величество, его высочество желает добра».

«Бедная Кюхельхен, бедный Кисхен, бедный Кельблейн», произнес бывший государь, и его двоюродный брат с грубой правдивостью заметил: «Твои Кюхельхен и Кисхен в меру слабоумны, а Кельблейн неизлечимый идиот; народу будет приятнее знать, что твой преемник, Виллем. И пусть мой

Агнетенбург считается нашим общим, покамест ты не умрешь. Народ любит здравомыслие!»

«Вы правы, Рейнеке, — сказал низверженный Виллем: — изложите ваш план».

«Говорите, Рюбе», — сказал Рейнеке.

И стоявший поодаль скинул капюшон, и увидев его лицо, я взвился на дыбы, но тотчас осторожно опустил передние ноги. Мне показалось, что голова говорившего растет лбом из туловища, настолько круто было искривление его шеи с перегибом к левому плечу; затылок лежал у ключицы и подбородок торчал вверх; на виду у всех адамово яблоко играло под нижней частью широкой бороды.

Благодаря этому прирожденному уродству он мог никогда не смотреть ни в чьи глаза.

План его состоял в том, чтобы ввести в левый рукав реки знаменитую баржу с бойницами «Гнедиге Даме» и нагрузить ее лучшим оружием арсенала под предлогом охраны границ. На ту же баржу переправить тайным образом скрытую в городе семью Виллема Лебенсланг; затем при помощи агнетенбургского флота произвести высадку по всей береговой линии и общим натиском вырвать у нового правительства город Херренрейх и восстановить в нем трон и династию.

Сказав все это, Косоглавый Рюбе придержал пальцем губу, отвисавшую вбок, и прикрылся капюшоном.

«Я слышу хорошо только правым ухом, — сказал он, — поэтому лучше мне войти в дом, где я буду ждать вашего письменного согласия», — и он в знак поклона перегнул туловище в сторону государей и удалился, кренясь влево и опираясь на трость. Было видно, что вследствие уродства ему тягостно общение с людьми. Из дальнейшего обмена мнений я понял, что план Косоглавого принят государями и с вечера того же дня в левом рукаве руки близ Хохейтегафен, где портовым смотрителем был Рюбе, появится баржа «Гнедиге Даме» и начнется погрузка оружия из арсенала и вербовка людей.

ГОРОД НА ЗАПАДНОМ БЕРЕГУ

Еще до восхода солнца я взошел на холм над рекой и там сложил прекрасный гекзаметр в честь свободы. Затем я вступил в город вместе с солнцем и утренними возами, скрестив руки и вдохновенно потупясь; борода моя была полна дорожной пыли, хвост — репейников, а грудь — блаженством гнева. «В нужный час открылась дверь тысячелетий, и я, древний страж свободы, возник между вами, граждане! Где крючковатые ваши пальцы, чтобы надвое разорвать горло измене, дабы дух ее вытек и упал ее черный язык?». Я забыл метр этих строчек, я забыл все греческое и теперь не могу восстановить стиха. За эти годы я усовершенство-

вал свою немецкую речь и в последнее время изучил языки грузинский и турецкий. Продолжаю рассказ.

Я ждал встречи, стечения толп и триумфа. Имея два желудка, я был естественно прожорлив и в это утро страдал от голода. Но я думал о дружбе свободомыслящих героев и о любви человеческой женщины, и эта мысль, как пьяная пища, согревала мне внутренность. Между тем я шел в толпе среди скота, повозок и погонщиков, животные дрожали при моем приближении, но ни один человек меня не заметил. Я был поражен этим странным явлением, а голод туманил мне разум. Тут увидел я двоих стоящих у плетня и в лице их была мысль и дерзость. «Кто эти двое?» — спросил я карлика на возу и тот отвесил им поклон и говорит: «Это Реттих и Бледе, — толкователи новых истин». — «Не лжецы ли?» спросил я, ибо дрожал от гнева и голода, но он сказал крикливо: «Заметь, верховой: все, кто носит плоские шляпы — верен народу», и я ничего не ответил на эту пошлость, но повернулся вспять и стал подле названных Реттих и Бледе. Но только лишь стал подле них, как понял, какого сорта эти люди, ибо они источали запах горелого молока, какой, как известно, присущ дыханию лжецов. А я-то хотел, прочтя им гекзаметр, при помощи их огласить измену. Все это — следствия литературности мыслей и дол-

гой спячки. Однако, в уме моем проснулась фессалийская изворотливость и я говорю: «Камраден, привет от Косоглавого! Жду ваших приказов», и этим хотел проникнуть в их мысли. Но они посмотрели друг другу в глаза, но никак не на меня. И я сказал еще: «Я могу вызвать бурю и внушать повиновение бессловесным. Это пригодно во всяком деле». И они продолжали смотреть друг другу в глаза, но Реттих спросил: «Можешь ли ты говорить против собственности и в пользу добрых нравов?». — «Ручаюсь, что могу», сказал я. — «Иди и говори на площадях, это нужно правительству», сказал Реттих и посмотрел Бледе в глаза и Бледе ответил ему тем же. И я понял, что это опасные негодяи и покинул их и отправился искать тех, кому я мог бы поведать хотя бы в прозе о заговоре против вольности города Херренрейх.

И что же я увидел? В городе была беготня, грязь, суетолака, голод, и я напрасно искал последствий великого дела. Правда, богачи проклинали бедных, истребивших богатство, но это был всего лишь густой нечистоплотный шорох, подобный пisku и шипению проколотых пузырей. Я не видел взглядов и не слышал голосов. Все люди казались беглецами и спины их вздрагивали и головы ныряли в тень. Женщины тащили корзины и меняли тряпье на провизию, имевшую вид крысиных об'едков. Наглые рты этих женщин были как нельзя лучше ус-

троены для произнесения грубых слов и площадной брани; среди них затерялись несколько мужчин, ищущих любви, сил страсти вырывался изнутри их ребер, вогнутых вековым согбением, и они смеялись застывшим смехом. И я сказал себе: «поздно пришла свобода, она нашла только эти трупы, и они славят ее смрадом своего разложения». И вот вижу: возле стока нечистот из-за гнусной стены, куда входили одни мужчины, появилась женщина с красным веселым лицом и подзывала прохожих, добродушно кивая в сторону гнусной стены. Она также и мне сделала подобное предложение, сказав: «Парень, сойди-ка сюда ко мне на минутку, лошадь далеко не уйдет». Но я отверг ее любезность, предпочитая в этих делах чистый воздух всему прочему. Даже и эта низкая тварь сочла меня всего лишь неловким верховым и не признала во мне божественного кентавра. Голод и отвращение содрогали мне желудок; вдруг донесся ко мне голос на площади и я ринулся ему навстречу. И представьте, это был Реттих, и он кричал против собственности. Он кричал так, что под скулами его образовались провалы, рот разодрался, щеки обвисли тряпичными складками, а глаза погасли. Таковы были во все времена лица наемных крикунов и добровольных глашатаев лжи. Между тем по мутному лоску его скул было видно, что сам он неизменно жаден и притом искусный вор. И хотел

я ему отвечать со всей силой гнева, но заглянувши в мешок, привязанный к шесту продавцом хлеба, увидел, что могу украсть оттуда добрую краюху, и сделал это и ушел за угол и ел, весь дрожа, ибо сил моих не было, — так я был голоден.

О существах, живущих оседло, мне не раз говорили ученые, что страсть к стяжанию скопляется у них от неподвижной жизни в подсердечной, поджелудочной и подвздошной областях, откуда ее можно рассосать только при помощи еженедельного сечения железными прутьями, причем многие мозговые процессы значительно ослабевают и несколько сокращается жизнь.

И до ночи я продолжал искать человека и пищи и не нашел. Я знал, что измена зреет, но положительно повсюду я слышал запах предательства и людоедства, и я хотел отдохнуть. Ночью мне повеселилось. Я забрался во двор бывшего советника Пуц и высосал его корову и еще ограбил сырный и творожный склад.

На утро выхожу на улицу и даже начистил себе копыта. Я сыт, копыта сияют, но со вчерашним — никакой разницы. Сутолока, грязь, тот же повсюду запах, а после полудня Блеме стал орать на площади. Обильно слезоточа, во всеуслышание рассказывал он дрянные истории о неверных любовниках и покинутых детях; он взывал к сочувствию слушателей, хотя и погрязших в разврате, но еще

не лишенных любви к жизни и мужественной силы. Они внимали ему молча, но с отвращением. А я, удивляясь, так широко раскрыл рот, что какой-то шутник сунул мне в рот палку, которую я тотчас перекусил, чем заслужил всеобщее участие. Выплюнув набалдашник, я сказал:

«Еще в отдаленных веках знакомые мне сочинители бывали биты и справедливо за подобное поругание здравых инстинктов толпы. Что же побуждает рассказчика повествовать о вещах, заведомо не встречающих сочувствия?».

«Чужеземец!— сказал Бледе,— лучше тебе не вмешиваться. — Но я кое-что слышал о нем в этот день и сказал: «Слышал я, что в ваших залах судов и зрелищ женщины, даже больные вступают тут же на месте в близкое телесное общение с соседями и что ты сам участвуешь в этом. Ты лжец, Бледе, и поэтому не должен говорить с людьми».

Признаюсь, меня сильно избили и я не сопротивлялся, из боязни нанести смертельное увечье этим несчастным. А ночью я пошел опять во двор советника Пуц, и тут высмотрел меня долговязый парень, Ганс Бездельник; он подстерег меня и видел, как я выпиваю молоко из коровьего вымени, держа корову на руках; и он засмеялся и бросил в меня мешком и убежал; в мешке был хлеб. И когда я поедал хлеб, то заметил, что за калиткой стоит женщина в черном и смотрит на меня крас-

ными и сильно блестящими глазами. Я вздумал кивнуть ей, но она исчезла.

Чтобы промыслить себе пропитание, я принялся за плетенье сетей у слабоумного рыболова; он редко платил мне и всячески мною помыкал, заставляя чистить ему одежду, обувь и мыть котелок, мерзко пахнувший рыбой. Здесь с берега реки Херренвассер я увидел баржу с бойницами, стоящую на якорях и спросил. «Что это?» И мне ответили: «Это «Гнедиге Даме», скоро ее начнут грузить и отправят вверх по течению, потому что на границе неспокойно». Это ударило мне в сердце и я решил действовать, видя, как страшно растет измена.

— Кто правители города? — спросил я рыбака, и он ответил: «Шауфус и Хартнекигер». И я пошел в ратушу и встретил препятствия, но разломал входную дверь; было много шума и драки, наконец я втиснулся в дверь, за которой сидели правители. Оба они были в огромных наушниках, преграждавших слух. Хартнекигер никогда не выходил наружу, ел, пил и чистился, не отрываясь от работы, а во сне диктовал распоряжения. Шауфус имел способность думать о пяти вещах зараз и слышал глазами.

— Заговор? — сказал он, взглянув на меня: — обратитесь к Рюбе. Регистрация? — дверь напро-

тив,—и с шуршанием влез обратно в ворох бумаг, и все дальнейшее, что я произнес перед ними, было бесцельно, ибо они не слышали. Тут я прошел в дверь напротив. Меня подвергли испытанию на резвость, осмотрели оплетенную мною сеть и зарегистрировали, как кровную скаковую лошадь, способную к ручному труду. Так вступил я под охрану трудовых законов страны. Впрочем рыбак, которому я услужал, тотчас же меня выгнал, как только увидел мое удостоверение.

И тут я понял, что такое Рюбе. От него я вышел и к нему возвратился. Всюду была его паутина и, пройдя по кругу, я вернул:я к пауку и пошел к нему, чтобы его убить.

Я отправился к его дому, где был свидетелем заговора в первую ночь по прибытии.

Раннее утро, ступаю тихо и вижу: посреди улицы женщины с ведрами стоят и смотрят вниз, а на земле лежит тот долговязый парень, который бросил в меня мешком в коровьем стойле советника Пуц. Он лежит и чешет черным пальцем правой ноги левую ногу. «Зачем же ты лежишь, Ганс?» говорит женщина, и он отвечает: «Лень встать», и все женщины смеются. Я спрашиваю: «Кто это?»— «Ганс-бездельник, сын смолильщика с Дельты, его укусила пчела; вынь жало», говорит женщина, а он отвечает: «Лень» так тихо и сладко, что все смеются. Я прохожу, и вдруг он

догнал меня, обхватил мне спину, повис на мне и бежит со мной в ногу, оглянулся на женщин, и они опять засмеялись. «Пошел прочь», говорю, а он бежит и ест яблоко на ходу и дал мне. Я смягчился, видя его глупость, и сказал: «Как думаешь, смотритель Рюбе еще спит или уже вышел?». И Ганс сказал: «Идем на озеро, Рюбе плавает в лодке и смотрит на Августу Лидерлих, это час ее купанья. Только съедим сначала яблоки, карманы отбили мне бока, а у тебя тяжелая рысь». И он опустошил свои карманы, и мы поели все яблоки и пришли на озеро. Он вытолкнул из тростников плоскодонку и поплыл в ней, а мне сказал: «Иди за мной в воде и пльви, но не показывай своей лошади». И закинул удочку, а я прошел за ним водой и тростниками.

Так с тыла приблизились мы к другой плоскодонке и видим: лежит человек навзничь и ноги протянуты на восток, а голова глядит на запад, в угол озера. И это был Рюбе, человек с перевернутой головой и предатель.

А в западном углу озера на песке сидит одна женщина и ловит рыбу в кошелку, а другая купается.

— Это неряха Августа,— сказал Ганс,— она толста в самый раз, даром что ест портовых крыс и рыбу без соли.— Я подавил в себе ржание и ответил, сильно содрогаясь: «Она отвратительна.

Но мне нужен Рюбе, я хочу, войти к нему в дом и быть его слугой». — «А не пристроиться ли тебе к Августе?» сказал Ганс, но я рассердился и сказал: «Мне нужен Рюбе» — но Ганс отвечал как ни в чем не бывало: «Через час ты найдешь ее на торговом мосту, думаю, что она нуждается в мужской прислуге». «А Рюбе не нуждается?» сказал я и опять посмотрел на Августу. — «Это возможно», сказал Ганс, так как он убил своего слугу и место его не занято». У меня было сильное желание уйти, и я сказал, что подумаю, и поспешно пошел к берегу, обернулся и увидел, что Ганс-бездельник пристально смотрит мне в спину. По дороге меня преследовал сильный запах яблок, проглоченных наскоро, и они свирепо ворочались, визжа у меня в желудке.

Там, где река глубоко входила в город, я остановился и ждал. На мост вели большие ворота, а в нише старуха продавала тыквенное семя. Я говорю ей: «Магушка, не известна ли вам Августа Лидерлих и что о ней говорят?» — а она отвечает: «Сом питается падалью, а подай его к столу, так он жирен и бел так, что дрожь берет». И я чувствую к ней доверие и спрашиваю жадно: «Не была ли она клеймена, у нее знаки на правой щеке?» — «Это укусы королевских псов», сказала она: «королева Литти в бытность свою на престоле спустила псов на Августу». «Из-за любовного

дела?» говорю я и прячу лицо. «Да, из-за мужа». «И многих она имела?» спросил я. «Имела, — сказала старуха, — но с детства она ищет падали пожирней, а раз, в самый голод, трое в складчину ее купили и метали о ней жребий». — «И она досталась одному?» — говорю я. — «Нет, никому, они испугались и ушли». — «Что же испугало их?» — «Ее глаза. Так их денежки и пропали. Вон она на мосту, приценись», сказала старуха и высунулась, чтобы разглядеть меня, и засмеялась мне вслед. А я был уже на мосту и увидел Августу около вещей, продаваемых с торгов, и я разломил толпу на-двое, чтобы стать рядом с этой женщиной; она так жадно смотрела на продаваемый хлам, что, не обернувшись, подалась в сторону и не слышала моего оглушительного пыхтенья. Тогда я стал лицом к этой красавице и выпятил перед ней свою грудь и задышал так, что кожа живота впадала мне под ребра на добрый кулак при каждом вздохе.

Увидев все это, она закричала с отвращением — и закрылась руками. И я ушел в надежде, что теперь она запомнила мою наружность.

СВИНИНА

Еще я выследил ее: идет, пробираясь к отдаленным кварталам, и к груди прижимает сверток жалкого вида. И вдруг мчится, сотрясаясь, свинья,

а за ней на телеге двое людей, и один погоняет а другой правит на свинью. И женщина стала и смотрит. Свинью задавили телегой, а женщина подошла к людям, совершившим бесчинство, и попросила у них кусок. Они кинули ей клок свинины, и она, нарвав травы, подобрала его из черной пыли, завернула в траву, вошла в узкий переулочек, и там ее настиг Рюбе Косоглавый; и я видел это, стоя у входа в проулочек, в конце которого был сильный прибрежный свет, и они шли, оба черные, к этому свету, а Рюбе кренился, догоняя ее; на голове его был капюшон. И тут я вынул из старой стены камень и пошел за ними, чтобы прикончить Косоглавого. Иду и слышу, как он говорит ей: «Хочешь есть?»— «Да».— «Пойдем к тебе».— «Убирайся».— «Хочешь пирога с печёнкой? Стань за углом, я тебе дам». И она встала у стены и говорит: «У меня руки нечисты». И он отломил кусок, она взяла его ртом, с'ела и сказала: «Дай еще, но не показывай мне твое лицо, я тебя знаю». И он вынимал один кусок за другим и ждал, когда она проглотит, и ее голос охрип от сытости: «Еще есть?» говорит. А он отвечает: «Еще много и каждый день будет много», и прижался к ней, а она ударила в его капюшон и побежала на берег, и он качался и гнулся, а я бросился вслед за женщиной и настиг ее и кричу: «Не меня ли вы позвали, госпожа?» А у нее икота, но она говорит: «Боюсь, не

обочлась ли я, зови-ка его обратно». «Ах, госпожа, я ищу работы, говорю я, и согласился бы за дешево». И зачерпнул ей воды кружкой и дал ей пить, так как вошел уже вслед за нею во двор ее хижины. Она напилась и отдышалась, и мы были вдвоем, а она так бела и отвратительна, как никто. «Я наняла бы тебя охотно, сказала она, но пока не имею средств; посмотри, не идет ли он к воротам». «Нет, у него разбито лицо»,—сказал я, и она облизала свой рот и сказала: «Обнадежь его насчет меня». И я сказал: «Я буду служить вам, и с платой согласен подождать». И она сказала: «Располагайся здесь, накачаешь воды, когда придет Паула, я скажу ей о тебе». И ушла в дверь.

Я остался один и сказал себе: «Подожду убивать Рюбе, сперва распутая его паутину». Так исполнил я совет Ганса-бездельника.

На другой день вдруг приходит к нам Ганс-бездельник, ведет за руку женщину и говорит Пауле, Августининой девице: «Покажите нам ваше заморское чудо, девица, я дам вам за это два хеллера; моя сестренка овдовела и хлопает день и ночь; пусть поглазет и потешится». — И Паула взяла деньги, вывела меня к ним и ушла. А я был рад видеть Ганса и хотел испытать его: — «Ганс, говорю я, отчего у правителей на ушах затворы?» а он сказал: «Что за штука! что за правители, кто такие?» — «А ты не знаешь?» — «И не слыхивал!

Что это ты так скосоротилась, сестренка?» а она глядит на меня сильно блестящими глазами, покраснела вся и брови перекосились. Но мне не до нее и я говорю: «Ганс, ты не только бездельник, но и плут, как я вижу». — «Что делается с женщиной! — сказал он. — Ах, соблазнитель, уйдем скорей, Трина», и вдруг она побежала прочь, а юн повис на моей спине и говорит: «Нанимайся в грузчики на «Гнедиге Даме». И не успел я ответить, закричал: «Ах ты паршивая кошка, какого стрекача задает, вот я тебе дам» и пустился вслед за сестрой и убежал.

МОСТ НА ДЕЛЬТУ

Хижина Августы стояла у левого речного рукава рски и тут же был пловучий мост и вел он на Дельту к смолильщикам.

Утром иду с корзиной и вижу на мосту — давка. Весь народ сбился на правую сторону и смотрит вниз, а внизу три крытых лодки словно примерзли. Посреди моста старший смолильщик кричит: «Разойдись! дай мост развести», а народ стоит и не двигается. «Черти! кричит старик: добро везут на «Гнедиге Даме», пропусти». А народ глядит в воду, а в воде шныряет голый Ганс и заглядывает под навес лодок, и народ с ним переговаривается: «спроси их, Ганс, из какого золота они сделаны, что их одних на погрузку взяли». —

«Из чистого навоза», говорит Ганс и лезет в лодку и его отгоняют веслом. «Вот это каторжник «Принц крови», сказал Ганс и загибает длинную ногу на борт лодки, а это карманник, Тронфольгер, а с ним»...—но его сбивают в реку и он тонет, барахтается и орет: а с ним «бывший дворцовый часовщик».—«Ну-ка скинь их в воду, а мы займем их места» говорят люди, а женщины молчат, но у них белеют скулы. «Разойдитесь добром, кричит старый смолильщик, вон в катере плывет сам Смотритель порта Рюбе»,—и тут люди вдруг схлынули на Дельту, мост разведен, Ганса нет, а смолильщик стоит возле меня, и я ему говорю:

«Ты боишься этой репы».—«Нет, я ем репу охотнее всего,—говорит он и смеется хрипло,—не даром я Рюбецаль» и кричит: «Ганс, выплывай». Тут Ганс вынырнул из воды, и они поставили плоты на место и скрепили цепи, а я так с ними и не договорился на этот раз.

Позднее я заметил, что город делится на две половины, и на западной разгильдяйничают Блёде и Реттих, а у тех, кто покрепче, у всех есть дела на восточной Дельте и среди них много женщин и все они варят свой обед в котлах смолильщика Рюбецаль и берут у него работу на дом. И еще я заметил, что баржа «Гнедиге Даме» на сильном подозрении у людей Дельты и узнал, что Ганс-

Бездельник сын старшего смолильщика, и я решил обо всем, что следует мне сделать,—пойти на Дельту и сказать все, что я знал об измене. Но тут случилось со мной такое неблагоприятие, как бывает в горячей печи, когда в нее всунут огромный ствол сырого дерева: в мои мысли попала сырая туша и гасила и раз'единяла мою мысль.

Августа опять приводила Рюбе, и я слышал, как она говорила ему, что не будет с ним жить, покамест нет перемены. И он сказал: «К зиме». Но она позволяла ему держать себя за руки и сколько угодно сидеть позади ее кресла. А сама бегала в арсенал, где принц Рейнеке, скрываясь, вел погрузку оружия, и там она делала с ним, что хотела, и он часа на два уходил с ней в подвал, где втайне жила семья низложенного государя и где Рейнеке имел свой чулан. Обо всем этом много позднее рассказал мне сам Рейнеке Гробзак, и этот рассказ поразил меня в сердце.

Он рассказывал так: «Раз идег она мимо портовых строений, и солдат на нее закричал. Подошел я, принц Рейнеке, и говорю тихо: «Августа Лидерлих, вы меня не узнали?» — «Я узнала вас, принц Рейнеке, здравствуйте», и прошла, красивая, как королева кухни и погребов. Тогда он побежал за ней до выхода и спросил: «Вы в ужасной нужде, Августа?» — «Это совсем неинтересно»,

ответила она и вышла из арсенального лабиринта, где принц Рейнеке прятался, и пошла к городскому валу. На другой день она опять подходит к арсеналу и говорит солдату: «Что ж, нельзя пройти?» и солдат отвечает ей: «Пожалуйста». А принц Рейнеке уже тут, но у него другие мысли, и он не уверен, нет ли тут ловушки с ее стороны и прямо говорит: «А вы не доносчица, Августа?» Но тут она выкатила на него свои почти безумные от наглой красоты ледяные глаза и сказала: «Государям Лебенсланг я верна до самой смерти», и это его взволновало сильно так же, как и ее красота.

Но я ничего не знал об этом, и Рюбе ничего не знал, и он подарил ей корову Берту, впоследствии причинившую мне ряд неприятностей. А я ждал появления Ганса, чтобы раскрыть ему то, что мне было известно, ибо чувствовал к нему доверие. В теплые полдни я стал предаваться мечте, достаточно гнусной, и во всем моем существе произошла остановка. Падение тем страшнее, чем оно незаметней.

Вот выписка из старого дневника.

30 июня.

Берта стала бегать со двора, я привожу ее обратно и она глядит на меня с ненавистью. В ко-

рове это неестественно. Берта широколобое курносое животное с вызывающими глазами.

О коровах скажу вообще: добрая корова прелестна, ибо она всегда имеет тихий вид вдумчивого материнства; злым коровам лучше не родиться на свет; это изверги, которых никто не любит, вследствие чего юни адски несчастны.

Позднейшие скобки: (Правота была всегда на стороне Берты. Не раз угрожал я ей даже, что я ее съем, но в действительности ни разу не опустился до пожирания животных).

Во дворе я устроил высокий настил - в виде поластей, и тут все мои рукоделия и небольшая жаровня.

2 июля.

Рюбе принес ей пару резиновых калош и две пары чулок нежного цвета. Он приходит редко, боясь, что его посещения станут известны. Но добыть что-либо для женщины ему крайне трудно.

Четыре года она изнывает в нищете! Когда ушел этот урод, она разглядела чулки и показала мне золотые клейма на пятках, и я нашел их прелестными.

Если бы я только мог бороться с этим волнением!

Да. Она бывала осторожна со мной и приветлива. Мы получили запас дров к зиме. Чего мне стоило

их расколоть! Я укладывал полено на кирпичные столбы ворот и раскалывал его. Августа сказала: «Нет, извините, все-таки ворот разрушать я не позволю». И мне пришлось колоть дрова на земле, подгибая колени передних ног и страдая от страшного прилива крови; жилы мои готовы были полопаться, когда я кончил.

Но тут она улыбнулась мне с искательной ужимкой, а подслеповатая Паула сказала мне вечером, что Августа обещает мне достать вязаную фуфайку и что это наверное.

Фуфайки этой я никогда не видел и не получил.

Вдруг я заметил, что стал легко забывать истины, известные мне от века, кроме того они мне попросту надоели, и я искал новых. Вся моя жизнь в эти дни была полна поисков умственных наслаждений и, повторяю, нет более губельного пути.

В дурную погоду Августа произносила тысячу гнусностей. Однажды она сказала мне: «Уйди, лошадь! Ты еще будешь меня учить». И голос ее был неприятен.

Я же впадал в молчаливый экстаз даже при виде того, как она, сунув носок в калошу, лениво терзала ее ногой, покамест калоша, извиваясь и резиново свистя, не впускала в себя ее ногу.

Ужаснее всего было то, что она почти перестала стесняться меня, правда, строение мое таково, что

передняя, человеческая часть моего двойного тела. увенчанная прекрасной, смею сказать, головой, от пояса невинно и стройно переходит в туловище коня. Таким образом, как человек, я лишен жалких придатков пола и в этом смысле стою выше ангелов в древней иерархии существ; между тем, как конь, я всегда блистал всеми статьями рыжей красоты и пышной производительности.

И подумать только, что Августа — эта двуногая свинья, гнусное ни то ни сё, из всей высокой гармонии кентавра понимало только одно: что лошади незачем стесняться и не раз в моем присутствии мыла свои ноги до пояса.

Между тем погрузка баржи была прекращена и настало затишье в порту и на Дельте, и я все глубже впадал в невозможный сон на яву.

Упомяну о моей встрече с Косоглавым. Когда он появлялся, я уходил под навес и своими перевернутыми глазами он мог видеть только мой круп. И однажды спросил, проходя: «Ах, у вас конь, Августа. Красивая лошадь?» — «Это Любимчик», сказала она и тотчас вывела Рюбе из ворот. Но случилось так, что я возвращаюсь с корзиной, а он выходит из дома и побелел при виде меня и стал клониться и цепляться за стену. Закрыв глаза рукой, а рот его был выше глаз и в красный рот светило солнце. И мы были вдвоем за воротами, и никогда во мне не было так сильно желание

убить его. А он принял меня за призрак воображения и говорит тихо: «Должно быть я смертельно болен». — А я сказал: «Хорошо бы тебе умереть», а он помолчал и говорит в ответ своим мыслям: «Я хочу Августу, Августу. Ах, это жжение в сердце и теле!» и поднялся и ушел, задыхаясь.

И я опять не убил его. Напротив, меня поразила мысль, о том, что минуты в жизни Рюбе вмещают больше, чем долголетие иных людей. Также слова его об этом жжении внутри и снаружи вошли в мою мысль.

[ПАУТИНА]

Августа — было слово невероятного объема и я мысленно ел его толщину, ел белый крендель этого слова. В тот раз Рюбе выпил вина и сильно надышался в ее хижине и был вне себя, но вскоре вижу, что его мысли обо мне совсем новые. Он мне кланяется, проходя, и вижу по Августе, что он говорил ей обо мне.

Чищу ей башмаки, и вдруг она встала в двери и говорит: «Ты делаешь честь моему дому; мне сказали о твоём искусстве вызывать бурю и делать превращения, и я удивляюсь тебе». И сама взяла из рук Паулы чашку с кофеем и подала мне и сказала: «Поговори со мной, Любимчик, ведь ты мой любимчик, нет?» — И я к тому времени уже

потерял высшее обоняние и слышу только ее гвоздичное мыло и кофейный аромат, и доверчиво рассказал ей случай, как мы с В. Гёте вышли в поле без зонта, и я вызвал ливень, и водяная стена, шумя, шла за нами, и помочила мне хвост, а седло было сухо и на В. не капнуло ни капли. И рассказал другие столь же малоинтересные вещи, и она была ючень довольна и говорит:

— Я совсем незнаменита, но может быть ты и мне покажешь что-нибудь, теперь мне не будет покоя, хочу видеть чудо.— «А чтобы ты хотела»?— говорю и чувствую, как вся внутренность моя плавает в теплом гусином сале: так меня повернула ее ласка и теплота. «Ах, сделай бурю на реке Херренвассер перед моими глазами». — «Разве что вечером, сказал я, глотая сладкую слюну: разве что вечером, когда на мосту пусто и все лодки стоят в порту». — И вдруг я вспоминаю, что дня два уже не видел лодок, грузивших баржу «Гнедиге Даме» и сказал вслух свою мысль, и Августа вдруг вспыхнула и говорит:

— Ах, с этим покончено! — И я понял, что она все знала заодно с предателями, и глаза ее горят опаской и ложью. А мое дыхание бушует, и я хочу ее допросить и гляжу с бешенством на ее тупое тело и ясно вижу, что оно достойно смерти. И говорю: «Ты простая женщина, твоя мать мыла полы в дворцовой кухне, и, зная все, что ты сделала?» —

и она отвечает: «Ты несправедлив. Я говорю тебе: с этим покончено и ничего такого не будет».

Действительно, вижу: погрузка баржи прекратилась, но Ганс исчез бесследно. Со мной было неблагоприятно, а я-то думал, что у меня всего лишь сухой насморк и простужен лоб. А дело было в том, что произошла пятая остановка на моем пути. Я весь внутри зарос паутиной и этого не видел. Я считал, что короткохвостая человеческая мысль потеряла надо мною свою силу, но я оступился в поток ужасных человеческих страстей и попал в самое глубокое место. Рюбе и Августа были оба в неугасимом огне, и меня кружил и пугал огонь, а я считал, что стою твердо. Кроме того людская нечистота западного Херренрейха покрыла меня мутью изнутри, а на Дельту я не шел, как узнал позднее, на правом берегу на привязи меня держали чужие мысли. И только впоследствии мне стало ясно, что сила людей так огромна, что движет и мертвит не только стихийные существа, но даже и небесные светила.

Ганса поймали на том, что однажды в сухую ночь он спаял все петли и крючья цепей на плывучем мосту, чтобы мост нельзя было развести, и таким образом отрезал доступ к барже «Гнедиге Даме». И на этом поймал его сам Рюбе. И Ганс был посажен в подвал того дома, где жил

Рюбе и свистал в кулак и в пальцы, заставляя крыс совершать парный вальс у своих ног, и ждал, что я его освобожу, потому что он прислал ко мне с весточкой вдову, Трину, свою сестру, и сейчас я расскажу, как она исполнила свое поручение.

БЕЛЫЙ СМЕРЧ

Ганс хорошо знал, что рано или поздно быть ему схваченным, и присмотрел тот погреб у Рюбе, где предполагал сидеть. И он предупредил Трину: «Когда мой след еще не простынет, выбери дождливый вечер и постучи в конюшню камрада Тейфельспферд и сообщи ему мой новый адрес». И вот вечером в дождь, на второй день Гансова исчезновения, бродит она по берегу и не смеет подойти к хижине и дышит тяжело, потому что потеряла голову; я-то с первой встречи еще заметил в ней этот ужас и обожание. И тут я почувал ее в темноте и вышел. Иду под дождем и вижу: бежит тень, я вслед за ней и пар от меня валит, и дождь вокруг меня шумит как гром, а Трина бежит и вдруг остановилась и стала кричать и смеяться и кинулась мне на шею. Тут мы долго обнимались с величайшей взаимной радостью, а дождь так и грохотал и клубился и взметывался вокруг и, став на дыбы, я прижал к себе вдову человека и носился с нею, в темноте; все это было как белый смерч,

и его видели в селении Дельты и ждали беды. Но вся беда была в том, что Трина без памяти отдалась любви и только кричала, оглушенная ее ужасом и этим ливнем, и так и удрала, не сказав ничего, что поручал ей Ганс. А на утро слегла и только смеялась в бреду и ржала, как молодая лошадь, и ни с кем больше Ганс уже не мог прислать мне вести.

Стихии разделились за меня и против, и среди них после этой ночи произошла испуганная тишина и многие из них отступились вовсе от этого дела; я остался один, и тишина дней стала незначительной и мой двор, и дом, и Августа выступили вперед с страшной ясностью, а все великое отступило и замкнулось в себе и в себя замкнуло мою память о ночном ливне и белом смерче.

МОИ ДВА СЕРДЦА

А на утро подходит ко мне Августа, и лицо ее было страшно, и говорит: «Для кого ты сделал бурю в эту ночь? Был смерч». И показала мне зубы, а я сказал: «Буря была не от меня, ее прислал север». — «Трина с Дельты была с тобой!» сказала Августа и с размахахватила меня по плечу поленом и я содрогнулся, увидев, что это ревность; а она вышла из ворот, постояла там и я слышал стоны. И тут я говорил себе, как дуралей: «Неужели? Неужели это то, о чём я меч-

тал и думал?». И мне было безумно сладко. Дурак. Свинья. Но, клянусь, я ни шага к ней не сделал: а она вернулась и говорит: «Сделай чудо, ты обещал, лжец!» Но хотя я изнемог и пал, но в теле моем было еще много гордости, и я ответил: «Обращение твое со мной недостойно».

Последние недели, ночью, посещая город, все же я замечал значительные перемены. Холм, на котором стоял старый дворец, тонул в облаках извести, багровел свежим кирпичом, имел вид огромной стоянки кораблей, благодаря мачтам с фонарями, освещавшими свежий те́с и новую стройку.

Слабый свет царил в кварталах правительства. Чиновники частью были отозваны на международный конгресс, многие жили на озере, а те из них, кто корпел в городе, были смертельно утомлены и, благословляя мирное время, рано ложились спать.

Между тем, я видел стены города, восстающие над головами тех, кто дремал, и на стенах тени старых знамен. Я знал какие сны произвольно снятся отощавшим торговцам мучных складов и мясного рынка. Косоглавый перестал посещать нашу хижину, но Августа обзавелась телефоном и, пожирая плиточный шоколад, утвердительно мычала, приложив ухо к круглому отверстию говорящей трубки. Она располнела и собачий укус на ее щеке принял смеющееся выражение.

Вдруг встречало в табачной лавчонке смолильщика Рюбецаля и тут же путается Бледе и очень ко мне приветлив; а Рюбецаль вышел за мной и говорит сквозь зубы: «Жаль! У тебя два сердца и сразу с тобой не покончить, но я сделаю так, что ты умрешь два раза» — и хотел подпороть мне кожу меж ребер, но тут Бледе выбежал к нам и закричал, а я сжал смолильщику запястье и нож выпал из его руки, а запястье его побелело и посинело под загаром и смолильщик ушел, шатаясь и скаля зубы. «Не гонись за ним», сказал я Бледе и почувствовал сильную тоску и предложил ему пройтись вместе. «С чего это перестраивают город, откуда деньги?», сказал я и он ответил: «Все оттуда же», помолчал и вдруг говорит: «Не думай, что ты неценен, товарищам известно, что ты имеешь дар ясновидения и можешь совершить сверхъестественный подвиг, на тебя рассчитывают». И он был кроток и спокоен и в лице его улеглись крикливые морщины. А у меня в эти дни вся кровь была полна грязными и мелочными мыслями, так как я потерял связь с стихийными массами, ссорился с Августой и погряз в домашних делах. Мудрость и высшие силы были во мне поколеблены, так как они требуют чистоты жизни, ясности желаний и постоянной тренировки. И я с ногами и хвостом влез в ловушку этого шпиона и спросил: «почему смолильщик набросился на меня с ножом?» — И

он покривился и говорит тихо: «многие тебя боятся, не зная на чьей ты стороне». И я рассердился и ответил: «Ох, боюсь, что сама Дельта кишит изменой». И Бледэ сказал. «Еще бы!» и поторопился исчезнуть.

Начались бури. Навес в углу двора, где я ночевал, не давал мне ни отдыха, ни защиты от дождевых шквалов. Однажды на рассвете я чихнул так сильно, что стены хижины задрожали и выпало стекло в окне, за которым спала подслеповатая Паула. Мои бока были исхлестаны ливнем и хвост не расчесывался, самый крупный гребень застревал в комьях сбитого волоса. Поутру Августа выразила мне громкое недовольство громким моим чиханьем и храпом. Несмотря на дурные сны, воля моя все еще была несокрушима. Поэтому в ответ на грубости Августы, я сообщил ей, что решил переправиться на тот берег, чтобы найти работу у смолильщиков и скопить себе денег на теплую одежду. Правда, еще в начале июля я раздобыл себе кое-какие уборы, но они оказались непригодны. За очень дешевую цену я получил в галантерейной лавке коробку крахмальных воротничков, манишку без рубахи, пару светлых полосатых брюк и шелковые подтяжки, совершенно неприемлемые при моем сложении. Если бы даже я сумел натянуть пару брюк на передние свои конские ноги, то укрепить пояс на конской груди

под моим человеческим животом и сзади подмышками передних ног не представлялось возможным, тогда как задние мои ноги и круп были настолько огромны и так велик и тяжел бурый хвост, что одеть их было возможно лишь по особому заказу, сопряженному с огромными затратами.

Обо всем этом я сказал очень сдержанно, и Августа смотрела вверх в одну точку и побелела настолько, что русые усики были как тень на ее губе. И вижу, что хочет говорить, но в горле у нее шум и рот мертвый. И только взяла горшок с молоком Берты, — коровы — и хряснула мне его в голову, тут вошел Рюбе, а я вышел весь в черепках, царапинах и молоке. Пошел, купался долго, студил свое тело в воде, размыл свой хвост, выдрал волосяные комья, одел свои лохмотья и перешел мост. И вдруг мне говорят: «Плати сбор», а я без копейки — и заспорил. В эту минуту вижу идет Рюбе на мосту, ковыляет, стал, поманил и говорит: «Пюди сюда». — Я думаю: «пойти, столкнуть его в воду». — Подошел, говорю: «Что скажешь?» и тесню его к самому краю. И он сказал только: «Она тебя любит, Августа, тебя». И тут случилось то, чего этот колдун добивался: я стал весь сразу горяч и туп, как кирпич на костре, и он еще говорит: «узнай, она приняла отравы и не хочет выпить молока, чтобы жить, горло ее сожжено и горит, вернись», — Пошел я за ним,

как скот, и дал ходу и примчался в дом и отпанивал эту дрянью Августу и помял ее со злости, потому что она сопротивлялась и булькала и плевалась молоком. Животные болеют в чистоте и кротости. Посмотрели бы вы, как Августа багрово тужилась при каждом кашле, — ох!

А через день Рюбе говорит: «Она плачет и ревнует и просит вас только об одном: разбить мост при помощи бури; ее терзает вид этого моста, по которому вы, камрад, шли от нее прочь к другой женщине; и она хочет видеть, как молнии расплавят цепь и как ветер разобьет настил и бочки и будет покойна, видя, что вы теперь отвечаете ее чувству». А я был зол и ничему не верил. Тут Рюбе пощипал себе бородку, торчащую к небесам, и я слышу, Августа стонет. Я разозлился еще больше, а Рюбе сказал: «Она в очень опасном положении». Тогда я стал чистить себе ногти и запел в нос: «Ррати, ррати, ррати, эрри, эрри, рэй!» И вдруг пронесся вопль, с Августой сделались судороги и она довела себя до того в своем исступлении, что чуть было не скончалась тут же у нас на руках. Она донельзя испугалась сама и стала кричать и хрипеть.

«Бейте ее мокрым полотенцем по лицу», сказал Рюбе, изнемогавший от горя. «Бейте сами», сказал я, но не выдержал, намочил холст и ударил ее много раз, так что брызгало и она чуть не захлебнулась,

и была спасена, но от злости закусила полотенце зубами и смотрела на меня, как на убийцу. Потом заплакала очаровательно и совсем не громко, решив, что достигла цели.

И действительно, я вышел во двор и подозвал Косоглавого. «Искусство вызывать бурю, сказал я, доступно каждому из нашей породы, но им не следует злоупотреблять и я сделаю это только раз завтра вечером!» И он сказал: «хорошо» и закрылся капюшоном.

ВОСТОЧНЫЙ ВЕТЕР

Затем я отпросился на ночь и сделал небольшую прогулку в лес, чтобы сосредоточиться.

Давно я не был с лесом с глазу на глаз. Встал на его пороге и отер пот: лес не узнал меня. А прежде он взбухал мне навстречу всеми горбами, чтобы я мог увидеть всю его форму. Нет! стоят деревья, я моргаю, вспотел, слышу запах скребницы, укуса, рога, пощипал космы над копытом, хребет немеет и ни одного слова по-гречески не помню, только в мозгу чешется. Согнул куст, ступил в чашу, и вдруг стегнуло меня, да как! В ярости взлетаю огромным скачком, хлещет сучком поперек живота и — в кровь.

Мчусь, бью, драка, реву коровой и лечу. Прошел лес, прошел полем — вскачь, луна летит в лужах; огни и гром паровозов отстали, шип, сту-

котня вдали. Я лечу. Потом побежал рысью. Тут восточный ветер пыхнул на опушке и стал рядом со мной и пошел, руки за спину, и так нес свой подол полный трещеток; вот это был действительно хороший музыкант. На лице его виднелась одна только длинная пасть, так как глаза были узки и задуты под самую бровь, щеки и шея были как у хорошего стеклодува. Я любил его крепко и сказал ему: «хочу сговориться с тобой насчет вечера среды, если ты никуда не отозван». И он пыхнул и кивнул, я дал ему заказ назавтра и мы расстались.

Тут я приятно отдышался и почувствовал голод и прохладу. Из дорожной торбы я вынул хлеб и вязаную старую накидку, подаренную мне Августой, обвязал ею плечи, с'ел хлеб, большой кусок сахара и, почуяв пищеварительный приступ, сосредоточился ненадолго на спокойных и медленных мыслях о хозяйственных делах и обратной дороге.

Таким образом, совершив все надлежащее, исполнив обещанное и весьма освежившись, я шел обратным путем мирно и долго и в лесу свернул папиросу и закурил. Я не возвращался более к мыслям о далеком ушедшем и перебирал в уме свои новые приобретения. Я вытер шершавым листом костяной мундштук, продул его с визгом и свистом и, завернув в бумажку, уложил на дно

торбы. Если много курить под ряд, горький дым становится противен. Я вспомнил с досадой, что не взял с собой зубной щетки и долго плевал, чтобы сплюнуть остатки еды и табачный осадок, потер зубы пальцем, зубы чистоплотно посвистывали, я успокоился. Был рассвет.

В этот вечер, когда поднялась буря, мы спокойно оставались дома, я лечил свой бок, разодранный коровьими рогами. Берта, злобная тварь, когда вдруг потемнел воздух и прокатился гром, заметалась и, наткнувшись на меня, лихо боднула меня в бедро. Августа, довольная тем, что свистел ветер и в крыше гремел шторм, делала мне примочки, и я воспользовался этой минутой, чтобы сделать ей предложение.

«Но ради бога, Либлинг, сказала она, налепливая пластырь, ведь все же вы ни что иное, как лошадь».

И это она сказала мне в тот час, когда предсказанное мною чудо совершалось.

— Так. Я ни что иное, как лошадь, — сказал я, и отстранил ее руки, лечившие меня. Она поняла, что сделала неловкость и заметила кротко: «Как могу я выйти за вас замуж, Либлинг, ведь это было бы грехом и пастор ни за что бы не согласился, так как вы языческое животное». Тут я ответил: «слово «языческий» мне непонятно, но если я жи-

вотное, то что же такое вы, Августа?» — и, мотнув хвостом, ушел под навес в глубину двора.

«Я человек», сказала она назидательно и твердо, покачала головой, убрала примочку на место и весь вечер перебирала свое тряпье.

Теперь о Восточном.

Пролетая к реке, он увидел, как у входа во дворец стоявшие в кадках веерные пальмы бодро задрожали и захлопали в ладоши, и приостановился.

Но он верил мне, и этот восторг приписал исключительно бестолковости пальм и, подобравши с земли свой подол, помчался к реке, гремя всеми своими полотнищами.

Заиграли трещетки.

Плотовые канаты напряжились; Восточный разрыл в воде большие ямы и погнал воду к заграждению моста с такой силой, что приподнял снизу плоты и они показали всю свою подшивку, унизанную бочками, и бочки торчали вверх дном, и ливень пробил их днища, и еще раз Восточный вздрам мост кверху, цепь визжит и режет, а молния за молнией садят в цепь, и вот одна, длинная, дернула из тучи, как огненный ствол, и впаялась в железо, мост стал горой и разошелся, и тут его оба конца бились до последней щепы.

«Что ты смотришь?» — говорю Августе и она отвечает: «на дело рук твоих смотрю». А моя болезнь

с этой ночи приняла тяжелую форму; озноб, в голове шуршит; я спросил бессовестную женщину: «Как твое горло?» А она принесла мне питья из сухой моркови; я выпил. Светлеет. Стихло. И вдруг вижу, будто весь порт в огнях. И раздался пушечный выстрел. И тут я заснул.

ДЕЛО РУК МОИХ

Проснулся и вижу: в порту идет резня, баржа на внутреннем рейде и на ней выютя королевские вымпелы и дурак Восточный играет ими, как паршивый ребенок.

— Август!— закричал я, а она вся распухла от слёз и говорит:

— Весь город был как гнилой орех, никто не защищал свободы.

— А чьей же это пахнет кровью? кричу я. И она говорит: «Ах, это убили Блёде и Реттих, двух верных, а Шауфус и Хартнекигер брошены на с'едение крысам». — А кто напоил меня отравой? говорю и не могу стать на ноги. — «Приходила Трина, сестра Ганса и принесла тебе отвар от лихорадки, а я налила тебе в кофе, потому что ты не любишь лечиться, прости меня, красавчик».

И я сказал: «Вранье. Пойду вплавь на Дельту».

— Хорошо. Но ты не вернешься. На Дельте чума. Когда поплывешь обратно, тебя застрелит стража.

И я пытаюсь осмыслить происшедшее, но мысли мои в толстых жюконах паутины. И я говорю:

— Так кто же здесь хотел свободы и когда?

— Никто и никогда,— сказала Августа,— хотели хлеба и покоя, все обман.

— А где же смолильщик Рюбецаль? — закричал я.

— Он болен, болен,— сказала она,— но и он на стороне государей.

И я хотел встать снова, но был слаб и рухнул.

А правда была та, что предатели добились, чего хотели.

Мост, запаянный Гансом-бездельником, был разрушен молнией и штормом, и баржа во всеоружии вошла в порт и за нею флот герцога Рейнеке Гробзак. Дельта была отрезана, объявлена зачумленной и обречена голодной смерти. Гарнизон разрознен. Арсенал разграблен и все ценности свезены на баржу. Сражение произошло при высадке. Тут полегла горсть верных. Рыча от бессильной ярости, дрались эти парни. Они так бранились и клялись, изрыгали столь страшные пожелания, что эти бешеные и, увы, справедливые заклятия не могли не отозваться на дальнейшей судьбе государей Лебенсланг. А все это было делом рук Рюбе Косоглавого и моих. И лучше бы мне было навеки окаменеть, чем натворить все то, что я натворил. Поутру выхожу из ворот, — откуда ни возьмись Во-

стóчный и плонул мне в лицо так, что кровь моя пошла носом и я вернулся домой и говорю: «Подожду. Погода неблагоприятна» — «Подожди, сказала Августа, за тобой пришлют из дворца». Но в тот дeнь не прислали и она сама вышла и вернулась с дворцовыми простынями.

У нее зачерствела кожа на боках и она приказала мне составить смягчающую мазь.

Проблеск разума исчез с лица Августы. Белая сытость навсегда окутала ее тело.

Ее призвали во дворец, чтобы разобрать простыни великих герцогинь. В чанах истлело невынутое белье, она должна была многое заштопать. Я помогал ей, как мог. Она работала благоговейно и только раз сказала с злобною кротостью: «ненавижу, когда нитка захлестывается». Я понял, что она жаждет порядка во всем, чтобы достойно принять заслуженное счастье.

Каким оказалось ее счастье, скажу позднее.

Я гладил простыни и думал о своей любви, не знавшей мирного часа и тишины, необходимой, чтобы радость росла.

Далее повествую со слов свидетелей.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРОНА

Трон был восстановлен в первую сентябрьскую среду к вечеру. На холмах горели бочки.

Во дворце не успели исправить провода и торжество произошло в небольшой гостиной, так как нехватало ламп. Обед был плохой, и ни Рюбе, ни Гробзак его не посетили, они были озабочены состоянием города и восторгами граждан. Семейство государя наелось фаршированной репы, растерянное наслаждение было на лицах молодых герцогинь, крайне подурневших. (Это все из рассказов Августы). После ячменного кофе с сиропом, государь благоговейным вальсом обвел свою супругу вокруг колонны. Ее величество, бедная Литти, еще не очнулась и помнила одно: под страхом смерти всего семейства нельзя ни разу завизжать. У младшего ее, Кельблейн, рожденного в крысином убежище, выпадал язык, и принцесса Кисхен вправляла его ноготком обратно. Королева Литти вдруг вспомнила, как давно уже не ревновала и вся обомлела при мысли, что все возвращается и сладкий ужас ревнивых рыданий возможен вновь; за столом сидел ее муж, одетый на подобие гусара и был государем. И почувствовав счастье, Литти сказала вполне пристойно: «Мне говорят, будто бы все умные люди вернулись и уже заказали себе платья». Никто ей не ответил, так как придворные

ушли спать, а великие герцогини сидели в стороне и разглаживали себе рукавчики на плечах. А государь рассказывал дежурному лакею, как во времена его бегства добрые крестьяне предложили ему лепешку с творогом, перебродившим до тухлой горечи и спиртового смрада и как он об этой лепешке хранит благодарную память.

Утром государь проснулся в страхе и думал только о том, чтобы успеть пройти в уборную до начала кровавых событий. Вдруг входит старая экономка, бежавшая в свое время в Агнетенбург и не знавшая нужды. Он засмеялся от радости, что кровавых событий не будет и она подала ему все, что нужно. Он был счастлив, оправился и начал правильно мыслить о том, что желудки всей династии видоизменились в своих функциях благодаря неестественному самочувствию революционного периода; он обрадовался новизне своих мыслей и смело подошел к письменному столу. В чернильнице была лиловая сухость и в ручке не вправлены перья. И он не сказал об этом лакею, дрожал рукой и сдерживал слезы. В это время вошла Литти и сказала: «Простень мало! Опять начинается!» Эта Литти уже успела войти во вкус и в чувство царственной жизни; от знакомой злобы ее голоса вся кровь государя победно содрогнулась и он ответил ей не без улыбки: «Ай-яй-яй, ай-яй-яй, ай-яй-яй, моя дражайшая!».

Таковы были герои и великие женщины запретной страны, куда я примчался, назад тому три месяца, нарушив свой закон.

СОБАЧИЙ РАЙ

Еще я не знал ничего о Рейнеке и Августе, и вдруг принц Рейнеке въезжает в наши ворота со сворой псов и раскрывает ей объятия и орет благим матом: «Хозяюшка! Вейбхен! Женщинка!»— и Августа говорит: «Сойди с коня, нехорошо», а он говорит: «Некогда» и берет ее к себе в седло и треплет ее, как курицу, а его псы присели вокруг меня на карачки и в страхе поджали хвосты.

— Оставь, мы не одни,— говорит Августа и охрипла от страха и он оглянулся на меня и спустил ее на землю, сказав: «Ах ты, нечистая сила! Вот она чортова лошадь. Сударь, я обязан вам благодарностью».— «Молчи ты! сказала ему Августа: молчи!»— «Ах, какие тонкости!»— сказал Рейнеке и поправил свои усы и проворчал: «Ответа не слышу» и обратился к ней: «Вейбхен, в дворцовый павильон внесена большая кровать, переезжай: а этот господин получит приглашение от кухни Литти. Один маленький поцелуй и до свидания». И скрылся.

И тут она села на дрова и ждала от меня смерти. Но я думал о другом.

— Бей, любимчик, я не могу дольше ждать, сказала Августа: ты видел, я не просила у него защиты, убей меня, это будет справедливо. Я давно обманула тебя, я с ним с июля, я молода еще и мне нужно любить. Тебя я боюсь больше смерти. Убей, но не жди так долго.

И я ответил: «Сперва поговори еще. Скажи о том чувстве, которому ты искала ответа, и о том, почему ты за мной посылала, когда я ушел от тебя. Твоя злоба была велика, ты очень злая тварь, Августа, и очень тупа, и очень жадна, и, быть может, ревнива,— об этих чувствах ты можешь еще порассказать перед смертью. Поговори».

— Разве я не в праве ничего желать? — сказала Августа, — никто не голодал так, как я. И теперь я голодна навеки и ты убьешь голодную.— И я ответил: «Не убью тебя и ничего не сделаю тебе, но скажи еще о буре, тут что-то было неладно, ты просила о буре и поставила свою жизнь в заклад, и если б я не сделал по-твоему и не призвал ветер на нашу реку, ты бы умерла?»

— Умерла бы,—говорит;—но верно ли то, что ты меня не убьешь ни теперь, ни после? — «Нет, не убью» сказал я. И она говорит: «дай, я поцелую твои руки». В этом я ей отказал, но потерял нить мысли и спросил тихо, увидев, что она млеет: «Дождалась?»—и она говорит: «дождалась; у меня мурашки по спине побежали, теперь я буду в раю».—

«И богом ты выбрала Рейнеке?» — «Да, да». — А святыми — собак?» — И она захохотала и сказала: «Ах, ты мой любимчик!» — «А куда вы денете Рюбе?» — «Репу — сказала она, — посадим в хороший огород среди салата и дадим ему Паулу в няньки, она будет ему редькой и морковью». И она продолжала распространяться и наговорила еще пошлостей до одурения, и потом разошлась совсем и говорит: «От Литти, королевы, так пахнет старым платьем, что королевские голуби не захотели ее признать. Все равно. Когда принц Рейнеке Гробзак займет свои покои во дворце, надо будет открыть все окна и проветрить. Придется вставлять много стекол». — Но тут влетает во двор отряд дворцовой стражи, подносит мне мундир королевского драгунского офицера и просит следовать за ними. «Зачем?» говорю, и мне отвечают: «Дети ее величества желают, чтобы вы были им представлены, лейтенант», — и Августа подмигнула. «Ладно, говорю я, посмотрим этих детей», и надел просторный и новый мундир и пустился в путь. Верховые все были на кровных конях, но среди них из предосторожности не были пущено ни одной кобылы. Уже одно это обстоятельство навело меня на мысль о низкой оценке моих духовных свойств со стороны людей, с которыми мне предстояла встреча. Впрочем, ничто в мире не могло сравниться с их действительным нищенским тупоумием.

Двое жалких детей держались за руки, и не двигаясь, задавали скромные вопросы; поглядев на меня, они хотели уже уйти, но их остановили, спросив: «Разве вы не хотите, дети, поздороваться с господином конным драгуном его величества?» И Кюхельхен присела и Кисхен шаркнула ножкой и оба сказали тихим фальцетом: «Доброе утро, господин драгунский лейтенант».

И постояв, ушли.

Во дворце было предложено мне удобное и светлое помещение и предоставлено полное довольствие. В обращении были почёт, опаска и признательность и я не допытывался о причинах.

С того дня, как я разрушил пловучий мост смолильщиков, я стал с трудом проглатывать пищу и охотнее пил. Моя печень была повреждена в глубине конского туловища; вся моя природа страдала. Я приписывал все это исключительно несчастной любви, но в то же время мои мысли о Дельте приняли образы тяжелых снов и постоянно прерывались и пересекались темнотою. Я стонал в бреду о предательстве смолильщиков и желал им чумной смерти. Однажды, проснувшись, хотел к ним идти. За Дельтой вставало белое солнце и я вспоминал, что как будто бы меня с вечера туда позвали. Но Дельта была объявлена чумной и подходы к ней защищали оружием.

Пошли осенние дни. Августу я не встречал и

тут впервые я хлебнул водки и стал проще смотреть на вещи, и на берег в предместье не ходил, а купался под торговым мостом, в центре, или же в дворцовых прудах.

Трон был восстановлен. С бешеным топотом королевские кошки проносились по коридорам дворца, празднуя восстановление трона. Блюдечки с голубым молоком стояли у всех порогов. Голубые мелкие перья ошипанных голубей постоянно влетали в открытые окна на осеннем теплом ветру. Литти приказала зажарить всех голубей для простого народа, потому что голуби не летели к ней и не захотели взять корм из ее рук. Всех до одного подали на столы народного празднества.

Старики приходили поздравить государыню, ленты их орденов были в белых воробьиных следах, и бледные сановники озирались, произнося поздравления.

«Не оглядывайтесь. Безопасно» жестко сказала им Литти.

Любивший ее с детства старший фельдмаршал плакал и молчал, ибо дар приветствия его покинул.

Дворцовые псы, одичавшие и сильно повеселев, не признали восстановления трона. Им нужна была плеть. Искали, кто бы осмелился поднять плеть, и не нашли. Тогда еще Рейнеке Гробзак не жил

во дворце, а мне было безразлично. Суеверная дворня заманивала крыс обратно в дворцовые мучные склады. Крысы не шли, гнездясь в порту.

Немногочисленная садовая прислуга не в силах была унять сорные травы. В сентябре началось второе лето и на крышах высыпала зеленая поросль; мхи и плесень принимали невиданные оттенки и в парке вырос оранжевый гриб размером равный новорожденному ребенку.

Советник Хинке и советник Пуц поспорили из-за яблоневого шкафа и прибора для снятия сапог. Минуя суды, и забыв, что оба имели жен, сильных в споре, в неурочный час утреннего кофе оба ввалились к государю и, рассевшись на креслах, где попало, бессильно плакали, продолжительно жалуюсь. Каждый больше всего в мире любил свой яблоневый шкаф, шкафы были неразличимо сходны, один из них погиб в огне восстания, и оба советника хотели иметь оставшийся. Прибор для снятия сапог был предметом острых восклицаний, потеря шкафа источала горячие слезы из глубины обоих сердец, шкаф был последней страстью и последним прибежищем советников. Государь придерживал под столом трепетавшую левую руку и чувствовал, как из-под грудной кости душа его, проползая через колющую печень, текла вдоль колен, уходя вон из его тела.

«Дайте им что-нибудь», сказал он бездыханно пространству. Но в пространстве под скатертью стола появился лишь колеблемый гневом заплаканный Пуц и спросил: «Где этикет? где право? где порядок? где корона и где мой шкаф?»

Тогда встал государь Виллем Лебенсланг и сказал:

— Молчите, дуралей! Собственность — разврат, который уничтожен. Здесь три дурака и нет никаких государей. Позовите немедленно кучера Петера, чтобы нас всех убрали из комнаты. — И стукнул по столу. И все трое сели обратно в свои кресла и молчали в течение часа.

Впрочем, все это не имело значения. Власть была в руках мудрого Рюбе и отважного Рейнеке Гробзак. Оба они держали граждан в состоянии сытости и умеренного восторга, имели свои дома на скале Бурга, украшали снаружи дворцовые стены гирляндами и фонарями и предоставили внутри стен тлеть династической рухляди.

СЫТОСТЬ

Сытость горожан принимала грозные размеры. Им было возвращено все. И они ничего не могли узнать, как-будто их кормили не тем, что они ели раньше.

Между тем рынки были переполнены; но женщины не могли выбрать кусков, какие бы им достаточно нравились.

На празднествах гражданам были поданы все желанные блюда .

Они пожирали зрелища парадов, горящих бочек, сосчитали дорогие камни на уборах. Белые скатерти метались в теплом ночном ветру, хлеба было столько, что запах теплого хлеба заглушал запахи бойни и рыбного склада, но была допущена одна ошибка: перца и соли не подали ни к одному из столов.

Люди были сыты и больше не боялись. Увы, в годы восстания они были голодны, злы и насмешливы, даже их глупость имела жгучий вкус огуречника и пряность гнилого ореха; это кипящее тупоумие теперь застыло и превратилось в непроглотимую гущу. Это была сытость угнетенников.

П С Ы

Наконец Рейнеке Гробзак вломился во дворец со всей своей Агнетенбургской псарней.

Он устроил грызню Агнетенбургских собак и псов Херренрейха, которые за время дворцового безвластия одичали. Гробзак полагался на многочисленность своих послушных свор, но когда на поляне королевского парка раздался воющий рев сотни собачьих глоток, разорванных Агнетенбургскими борзыми, из окрестных дворов, пустырей, подворотень, огородов, береговых зарослей, железнодорожных сторожек появились желтопегие ро-

дичи Херренрейхских бульдогов, потерявшие форму, но сохранившие львиную пасть, страсть к справедливости и мстительность нрава. Я стоял по ту сторону рыбного садка и видел, что творилось на поляне. За деревьями рыжегато пестрело, двигаясь к поляне, грозное собачье нашествие; минута — и клубками, гроздьями, валами в гущу борзых победителей ввалилась лавина мелких коричневых тигров, кривоногих и не знающих пощады. Произошла неслыханная свалка. Гробзак стрелял, визжа, как пес, когда великан Хексе из поселка смолильщиков впился в бок его любимца Густль. Новые стаи псов прибывали. Рейнеке выпустил 12 зарядов, трое егерей работали плетью, хриплый рокот нападающих гудел в воздухе, остаток борзых, воя и вереща, с поджатыми хвостами и подогнутыми задами, осадил к егерям, среди которых стоял Рейнеке Гробзак, грызущая линия тигровых псов приближалась и раненые издыхающие силачи, гордость Агнетенбургских свор стлались уже возле сапог вопящего Рейнеке. Плетни работали, но Хексе прыгнул и кулак старшего псара с зажатой плетью исчез в его пасти, Хексе висел грозным клубком на псаревой руке, и старший псарь ревел всей утробой. Двое егерей бросились вскачь наутек, Рейнеке был окружен и я должен был увидеть его гибель. Тут я вспомнил о левой щеке Августы с нежными теперь следами собачьих укусов. Этого было

достаточно. «Сюда! заорал я. Сюда, псы! Нечисть!» и засвистал незабываемым свистом старых времен, свистом заветным для всей родимой четвероногой косматой и оперенной родящей твари. Я перепрыгнул рыбный садок и среди мгновенной тишины, став во главе собачьего стада, вывел его за собой, сосредоточенное, усталое; все, кроме убитых наповал, нашли в себе силу расползтись по своим подворотням и, согласно моей воле, мирно распозжились в своих убежищах, хрипло рокоча и зализывая раны.

Ужас, внушенный мной когда-то Косоглавому был ничем в сравнении с той суеверной и мрачной привязанностью, которой воспыал ко мне принц Рейнеке Гробзак. Благодаря за спасение, он подал мне руку и сказал: «В ту минуту, когда вы спасли меня от верной гибели, вы сами казались мне страшнее смерти, дорогой друг. Теперь я не могу выразить ту степень почтения и доверия, которое внушает мне ваше открытое и честное лицо. Выпьем на ты!» — сказал он бурно и обнял похолодевшими руками мою голову и горячо поцеловал меня в губы. Мы выпили херренрейхского и еще раз поцеловались.

Он предложил мне на выбор любую государственную должность, но я сказал: «Принц Рейнеке, я ревнив и люблю Августу». И ему это очень при-

шлось по нраву, он долго хохотал, потом говорит: «Любите, но ревновать не стоит, потому что она таковская».

Видя, что он умен, я сказал еще: «Принц Рейнеке, для страны было бы лучше, чтобы правили Шауфус и Хартнекигер, а не вы или ваш родственник Виллем». Он опять засмеялся и сказал, что это ясно всякому дураку. «В чем же дело?» говорю и он отвечает: «Единственно в том, что из всей страны меня интересует один только Рейнеке Гробзак». И тут же он вновь обнял меня чистосердечно и сказал: «Приходи ко мне каждый день и говори со мной, ты будешь делать здесь все, что захочешь, лишь бы у меня было много денег и мало забот».

В кабинете государственных совещаний он приказал вынуть часть стены и возвести арку, под которой я мог бы приходить к нему, не сгибаясь. Напротив его кресла был установлен сделанный по мерке и обитый замшей помост, опустившись на который я мог полусидеть, уложив ноги в точеные желоба и опираясь плечами на выдвижную спинку. Под грудью моего конского корпуса приходилась плоская подушка. Локотники и поднос с письменным прибором были привинчены к спинке и свободно передвигались по мере надобности. Здесь, восседая подобно монументу, я держал совет вдвоем с принцем Рейнеке, возбуждая ревность Августы и Рюбе.

Впрочем, пусть не пеняет на меня этот Косогла-
вый предатель, он юбязан мне тем, что получил таки
Августу. И довольно уж было ей разглагольство-
вать среди свсией новой дворни о том, что так или
иначе она имеет лучшее, что можно было иметь в
двух королевствах. Этим лучшим был ее любовник
Рейнеке Гробзак, дворцовый перестроенный фли-
гель, где раньше жили в соседстве собаки и кони,
и уйма белого тряпья и белой мебели, составляв-
шие «Белый Парадиз». Когда она говорила о луч-
ших вещах в королевстве, в голосе ее было гар-
моничное хрюканье и сытое хрипение счастливой
утробы. Будь она проклята! Лучше всего было то,
что она действительно почитала себя сидящей в
густейшем раю, как муха в толстом слое сливок,
в избранном обществе жирных святых, изображен-
ных кистью плотоядных художников прежних вре-
мен; сама святая дева, белокурая с тремя малень-
кими грудями, висела у нее над кроватью; для
благочестивых третья грудь означала избыток ми-
лосердия, для Августы это было пленительное из-
лишество, которого эта тварь жаждала решительно
во всем. Она долгое время добивалась даже от
Рейнеке рыданий, коленопреклонений, обмороков
страсти, страдальческой бледности и пристойности.
И надо сказать, что из этого ровно ничего не
получила. Надо сказать, впрочем, и то, что эта
свинья ему нравилась чрезвычайно. Но истинным

его сердечным увлечением был только я, «чортова лошадь», как называла меня его любовница.

В то время, как мы с принцем Рейнеке составляли план управления государством, Августа позвала к себе Косоглавого и стоворилась с ним за сколько любовных встреч с нею он согласится меня погубить. Обо всем этом мне донесла подслеповатая Паула, придя во дворец вечером, причем сильно разбилась, оступившись в высохший бассейн. Так или иначе, когда в воскресный день в кабинет совещаний вошел Рюбе, пахнувший жасминовым мылом и с торчащим к потолку пучком бороды малинового цвета, я подумал: «Вот пришел предатель, получивший задаток за мою жизнь», но вслух сказал только, что борода этого тайного советника выкрашена не совсем удачно. «Садись», сказал Косоглавому Рейнеке и мы продолжали.

— Итак, сказал я, — тебе ясны, принц Рейнеке, категории лиц, достойных казни, но подлежащих амнистии. Это говоруны, наемные лжецы, прихвостни и лакеи прежнего правительства, низложенного вами, дорогие товарищи, и весьма в своем роде мудрого; их бывшие прихвостни, это та многочисленная сволочь, которая из прихлебательства вылезла наполовину из своей шкуры, чтобы угодить власти простого народа и смешать с грязью тебя и твоих; мы их не тронем, ибо с тем же трепетом жадности и страха, во имя победивших они влезут

обратно в свою шкуру и вылезут с другого ее конца, проклиная простой народ и превознося принца Рейнеке Гробзак, династию Лебенслангов, и чортову лошадь, сидящую в твоём совете.

Принц Рейнеке засмеялся и сказал, что я прав и мы пощадим эту сволочь.

— Остаются еще две категории лиц, подлежащих суду, — продолжал я, — предатели — раз, и наконец, те представители бывшей народной власти, которые тобой арестованы и сидят в портовой тюрьме, с большим количеством крыс и плохими харчами.

Тут Рюбе заметно приободрился и прикрыл свой кривой рот чистейшим платком, усеянным вензелями. На минуту я отвлекся, представляя себе отвратительную картину его любовных восторгов и сильно покраснел при этом.

— От тебя идет пар, лейтенант, передохни, — сказал Гробзак.

— Это излишне, — ответил я, — о предателях замечу: предавший единожды, в предательстве не остановится, так как навсегда в нем остается зуд измены; неверность — порок крови, совершенно неизлечимый.

— Ты смотришь на Рюбе и очень упорно, — сказал принц, ухмыляясь, и я ответил: «Да!» — и Рюбе сказал: «Я понял, лейтенант ищет моей смерти, ваше величество». — «Высочество», сказал принц,

смеясь еще больше и стал пить сладкий пунш, безмерно развлекаясь этой стычкой.

— Я внесу лишь одну поправку к этой речи, — продолжал Рюбе, глядя в потолок, — представители бывшей народной власти, столь мудрые, по словам лейтенанта, ныне освобождены из тюрьмы населением Дельты, смолильщиками и кузнецами с ведома господина лейтенанта и при его непосредственном участии.

Принц Рейнеке взглянул на меня пренебрежительно и у него перекошились морщины на лбу и сосредоточенно отвисла губа, как на охоте, когда волку удавалось его перехитрить. Выслушав эту ложь, я начал дышать и сопеть так сильно, что у меня раздулись щеки, свист несся из глубины моих ребер, тело мое раскалилось и в комнате запахло гарью.

— Вы страшно кричите, лейтенант, — сказал принц, — разве вы заметили, что я поверил этим инсинуациям? Не дышите так сильно, иначе мне придется вызвать брандмайора.

Он был смущен, но я уже не мог унять своих чувств, храп вырывался из моего оскаленного рта, замшевая подстилка горела и гасла подо мной, заливаемая потом моего гнева; воздух наполнился дымом.

Едва Косоглавый открыл рот, чтобы продолжить свои клеветы, как вспыхнула занавесь, к которой

он прижимался и принц с криком: «Воды! чертовщина!» выбежал вон из комнаты.

После этого через некоторое время события приняли странный оборот и можно, пожалуй, сказать, что в дальнейшей судьбе города Херренрейх не одним только людям принадлежало решающее слово.

Предатель Рюбе, накануне того дня, когда обгорели обои в кабинете совещаний, получил от Августы весьма ощутимый задаток, был готов заплатить за это любым преступлением, и ночью он двинулся в порт и вывел из портовой тюрьмы двоих бывших народных правителей, Шауфус и Хартнекигер, толкнул их в лодку и, так как оба не могли грести вследствие крысиных укусов, то сам он, Косоглавый Рюбе, поправил в уключинах весла и, скосившись сильно, чтобы ехать по прямой, около часа греб на Дельту. Там он высадил обоих и обратно ехал, скинув жапушон, задыхаясь, и лодка под ним плясала, как пьяная.

На другой день, как известно, он отправился к принцу, чтобы этот свой изменнический поступок приписать мне, об'явив меня государственным преступником.

СПЯЧКА

«Пообедайте с нами, господин лейтенант», — сказала Литти. «Нет», сказал я и прошел, покачиваясь.

На другой день та же история: иду через огород, злой, пьяный, топчу коротель. Спьяну не смог взять в вышину дворцовую ограду и безобразно перелез через плетень в огороде, поцарапав нижнюю часть живота.

Опять Литти: «Спасите моих детей, лейтенант». — «Не вижу в этом надобности», говорю и прохожу. Оглянулся. Она мне делает вслед приседания и протягивает руки. К чорту!

В это время мне окончательно надоели люди и все времена и все идеи. Я сильно запил и бывал только в казначействе, где нагло требовал жалованья вперед, потом шел к ближайшему погребку и орал у схода лестницы: «Кварту херренрёйскелера!» Ко мне боялись выйти, тогда я бил и рыл копытом мостовую и мне с испуганным писком спускали квартиру в корзине из верхнего окна, я отсчитывал бумажные деньги, завертывал в них камень, бросал его вверх в окно и, услышав подавленный вздох ужаса, забирал квартиру подмышку и нес ее в свое прохладное помещение в дворцовом парке. Тут я пил и для развлечения читал нараспев страшным голосом стихотворения Гейне и прочее, что попадалось в книжных шкафах, так как я жил в это время в бывшей библиотеке. Потом я спал и старался увидеть сон, который был бы мне хоть сколько-нибудь приятен, но сны проходили один за другим, как негодная труха

между мельничных жерновов, и я не находил в них пищи своему большому сердцу и своей безнадёжной совести. Но благодаря тому, что я внимательно приглядывался к своим снам, я не храпел во сне и кругом была тишина.

Однажды просыпаюсь с таким чувством, будто бы подцепил рыбу на крючок: мне приснилась Дельта и будто бы над ней раскинулись великолепные деревья, говорившие на моем родном языке, я весь встрепенулся, окреп, отрезвился,—так поутру поднимается на сильном корне трава, побитая ливнем.

И вдруг, проснувшись совсем, слышу необыкновенную мерзость: рядом во дворцовом левом флигеле душат невинного: мелодический чистый голос заикается, бормочет, ему не дают договорить; хрипение, звяканье, стон; вылетаю из ворот. Опять Литти. Ждет моего появления, неподвижная от смертоносных мыслей и в таком тихом столбняке, что уж я ей даже и не страшен. «Кого тут задавили?»—говорю; она отвечает: «О нет, вы ошибаетесь». Опять прерывистое бульканье в окне. «А это что?»—говорю я.—«Кюхелькен заучивает мелодию»,—говорит Литти и она стучит пальцем в окно и говорит: «Уже хорошо, дитя, довольно». «И вы хотите, чтобы я спас этого ребенка?»—говорю я. «Инструмент немного расстроен, говорит Литти; всему капут, господин лейтенант».

Я слушаю ее рассказ, выдергивая овощи за ботву, гневный вкус сельдерея и редьки меня веселит и так же рассказ Литти.

Во дворце, говорит она, на половине ее и Виллема, дверцы шкафов визжат наглыми голосами и масло их не смиряет; детское белье распалось и остались только решеточки крепкой штопки, работы Августы Лидерлих. Купили нансуку, сшили детям по три новых смены, новый нансук пахнет касторовым маслом и запах не отстирывается. Перед окнами детской, каждый день перед завтраком, падает дождь, тогда как кругом солнце; все вещи пропадают и прячутся, башмак заваливается в крысиную дыру, в полах везде дыры, хотя крыс нет совершенно. Иголка и ножницы сами переходят с места на место, и Литти, завив половину головы, потом часами бродит в поисках щипцов для завивания, они исчезают и появляются только к вечеру.

Чудесным образом исчезли из тюрьмы разбойники Шауфус и Хартнекигер и живут на Дельте у смолильщиков. Каждую ночь Виллем и Литти ждут, что смолильщики придут и заразят чумою детей, но никто не появляется.

— О чем же думает Рейнеке и что делают его солдаты?— говорю я.

— Ах ты, мой бог! Рейнеке не приходит даже к воскресному обеду. А солдаты, солдаты! Сол-

даты говорят, что они тоже люди, а когда солдаты говорят, что они люди, то они уже больше не солдаты.

Тут поднялся ветер и вдруг пошел сильный снег и началась зима, и я снова впал в спячку, успевши сказать Литти, что мне решительно на все наплевать, лишь бы только никто по близости от меня не играл на рояли.

Зимой я проснулся только раз и заметил, что у меня в плече огнестрельная рана, впрочем, тщательно забинтованная. Я понял, чьих рук это дело и выбежал на мороз, чтобы найти Августу и Рюбе и убить обоих. Земля была как мраморное поле, исполосованное сияющими следами полозьев, я закачался от холода и, не слыша ног под собою, едва доплелся до дверей библиотеки и, плотно прикрыв их за собой, заснул еще крепче. Во сне я все еще был болен, но меня тщательно лечили, и содержали помещение в большой чистоте.

Тут начались мои сны.

Во сне ко мне пришли горы на больших пятках и, став передо мной, испустили густой сап и сейчас же канули обратно; они не могли яснее выразить своей мысли, но сделали все, от них зависящее. Потом верещали долго маленькие животные, это мне надоело. «Вы сами хитрые дураки», сказал я, храпя.

К весне я увидел, что опять зарос травами, татарник схватил меня колючей пастью, внутри которой мед и розовая шерсть, трава обдавала меня коротким дыханием и во всем этом было слово, которого я не помню, но во мне прекращалось бие-ние жил.

Как только я понял, что это слово: казнь, на меня упало море и стало меня носить и возить, и отверделые мои ноги торчали из водяных повозок, волочивших меня до тех пор, пока не отмотали мне голову.

В марте мне приснилось, что я плакал у ног коровы Берты и она лизала мне плечо тяжелым языком.

В апреле ночью мне послышалось, что в окна входит колокольный звон, как если бы звонили все городские колокола. Нет, это гремели звонко водосточные желоба, извергая потоки ливня и сотрясаемые весенним ураганом, потом капли пели и плясали долго и пляска их становилась медленней; во дворе горел фонарь, и я увидел длинные отражения деревьев на стене, и по дрожи теней на их ветках я понял, что деревья цветут.

Я вышел и отправился к реке; от реки шел пар, пахнувший древесным потом, и это напомнило мне запах моей матери. Листва деревьев была смешана с влагой, и листья круглых трав—как ложки воды, и они пролились на мои колена.

И вот, смотрю: столбы дрожащего воздуха поднялись из-за озер и вдруг земля валом вѣбухла мне навстречу и стала горой и я весь обомлел: так точно бывало прежде. Но я протер глаза и все исчезло. Встало солнце, я пробежался, гремя копытами, в пустыне улиц, и стал у железных ворот, в самом тылу дворцового парка; внутри была тесная часть двора, заросшая травой, и глухие стены; над травой на веревке висело чистое детское белье. Цвет стен был розовый, трава блаженно горела зеленью, как подобает апрелю. Детское белье было мелко, солнце охватывало его палящим паром, пахло домовитыми радостями, а в траве были три небольших могилы: тут лежали все трое: Кюхелькен, Кельблейн и Кисхен. Я перепрыгнул изгородь и вошел в светелку возле прачешной; там сидел король Виллем Лебенсланг и грыз ногти, вздрагивая всеми частями лица поочередно, а в комнате рядом у мыльного корыта свирепо работала Литти,—она стирала белье умершим детям.

Все это, пользуясь моим сном, с помощью отравы, натворил Рейнеке Гробзак, но он же приказал меня лечить, когда, по наущению Августы, Рюбе подстрелил меня в окно библиотеки. Я встретился холодно с этим принцем, но Гробзак до-нельзя был мне рад и требовал моих советов. Город благоденствовал, на Дельте было тихо, Шауфус и Хартнекигер умерли от бешенства вследствие кры-

синих укусов, Гробзак был регентом и правителем города Херренрейх и все же не имел спокойного часа. Люди были замилены, но собаки и коровы не давали ему прохода даже на центральных улицах города. С лошадьми творилось что-то невероятное. Он должен был отказаться от любимой упряжки, потому что кони дрались и лягались и выражение их глаз было невыносимо. Гробзак мечтал вернуться в Агнетенбург и ждал моего пробуждения, чтобы оставить меня в городе Херренрейх вице-королем и своим заместителем. Я ответил кисло и просил неделю на размышление.

Не зная за что приняться, я все же обновил блестящую форму кавалерийского генерала и занялся собиранием растений.

МОЙ СЫН И ЧЕТЫРЕ ВЕТРА

Тра-ти, тра-ти, тра-ти, эрри, эрри-рэй!

Весть об этом принес чистильщик дворцовых сапог. Подавая клецки с луком, ключница сказала Литти: «На том берегу, на голодной Дельте, родился чорт с копытами, но после всего случившегося это сушие пустышки». Так как Литти была беременна непонятным для себя образом, то от страха ее схватили судороги и она уверяла, что ее ребенок бьет ее копытами в желудок. Давши клятву Августе никогда не визжать, она ревушим своим шопотом леденила всех, кто к ней приближался.

Призвали врача. Копыта не прощупывались. Услышав о происшествии, Августа тотчас поняла связь событий и приказала привести меня в «Белый Парадиз».

Меня нашли в кабаке. Я снова был пьян и моя зеленая жестянка для собирания растений была полна илом, так как в это утро я сделал попытку утопиться, но вода меня не приняла.

Августа встретила меня мрачным и пламенным взглядом, которого я не заметил.

Я стал при входе в комнату, тяжелыми руками раздвинул ткань, которой была завешана входная арка, натянул на себя обе половины этой грузной занавеси и просунул меж них свою пьяную голову в драгунской каскетке. В горле клокотал ядовитый смех, в голове клубилась тьма и на языке была площадная брань и зуд непристойных и бешеных шуток, готовых сорваться градом.

— Тварь!— сказала Августа.— Тварь!!— и, подбрав с постели два высоких шнурованных ботинка, швырнула мне их в лицо; один я поймал на лету, другой оцарапал мне губы. Потом полетели подушки, она метала их одну за другой с великолепным размахом плеч и диким огнём в глазах; выкинув все, дрожащая, она стала коленями на постель и сорвала изображение плачущей св. девы в медной раме и кинула его в меня, разбив мне колено, потом полетел стакан, коробка с мелкой

присыпкой, наконец она перегнулась на пол, среди разорения ища под кроватью последний снаряд, но тут я дернул ее за рубаху так, что она свалилась вниз головой и, ворочаясь на полу, всхлипывала и скрежетала в горчайшей ярости, не стесняясь своей наготы и непостижимого безрассудства.

«Августа», сказал я, выпив воду из горлышка уцелевшего графина, «Августа, дорогая, чем я обязан вашему вниманию?»— При этом пальцами левой руки я придерживал ее за горло и она пыталась ударить ногой в мое лошадиное сердце. И она кричала: «Грязная тварь, ты пренебрег мною, ты лишил меня всего и отнял для себя мое царство! Лошади будут править в моей стране. На! Получи за это!» И тут она ударила могучей ногой в мое сердце, и обморочная томность разлилась в моем пьяном теле, я отбросил Августу в дальний угол и сорвал с себя каскетку и мундир. Я решил прикончить ее и после нее всех во дворце до последнего человека.

Увидев страшное и грозное мое лицо, она поняла, что настал час последней с нею расплаты и, помертвевшая, произнесла: «У тебя на Дельте родился сын, иди ищи его, покамест он дышит. Вся Дельта подыхает с голоду и он вместе со всеми». И впала в бесчувствие.

Пьяный, растерзанный, полуживой, шел я, шатаясь, к переправе; сошел с берега и вошел в черную воду и поплыл к голодной Дельте. Выстрел раздался справа. Я плыл, охваченный туманом смёрти; сквозь черную сеть светило солнце, и я знал, что это знак того, что ребенок мой умирает. Раздирающую муку этого пути поймет ли зверь, впервые родивший в берлоге, когда кругом пожар и горит берлога? Выхожу на берег и чувствую, смерть подходит к сердцу; иду, охваченный туманом смерти, шаг мой грузен и слаб; черный воздух дрожит надо мной и белизна расцветших деревьев кажется мне почернелым снегом. Дождя нет, но я слышу оглушительный ливень в моих ушах и мозгу; тяжесть незримого ливня рушится на меня; это было горе, горе, горе. Наводнения не было, я ступал по сухой дороге и наяву мне снилось, что река поднялась и течет через меня на уровне города. Это все страшные сны моих тысячелетий вышли из берегов прошлого и бушевали вокруг. После нескончаемой жизни, томлений, скарёдного бесплодия я дождался ребенка. Минута, когда открылась кровь и зацвела. Я хотел видеть свою кровь, родившуюся под угрозой смерти.

На дороге подошел Рюбецаль и сказал: «Я тебя отведу». И я не боялся его, зная, что он искал моей смерти. Он видел мою непокрытую голову. Моя борода была мокрой от первых слез.

Меня привели. Окна были завешаны, чтобы никто не видел, и было пасмурно, я сильно согнулся, чтобы войти. Свечу взяли от постели роженицы, ей пришлось плохо, но никто не слышал, чтобы она жаловалась.

Увидав то, что мне было нужно, я стал смеяться. Сначала длинным ржанием, потом заливаясь все выше,— так я был счастлив. Солома подстила разлетелась и ребенок, дрогнув спинкой, поднялся на четыре копыта. Я упер ладони в свои бока и гудел смехом: он был рыжим, как червонная пыль. Выше конской грудки детское тело колебалось упруго и неустойчиво, но голова, стойком торчавшая на слабых плечах, светилась проступавшей рыжиной. Я хохотал так, что раскрылись окна; старик Рюбецаль взял ружье в углу и пристально в меня взгляделся. «Ясно ли тебе то, что ты должен сделать?» спросил он и продул затвор ружья. «Совершенно ясно,— ответил я, сияя.— Не трогай ружья; боюсь, что возьмет меня твоя пуля, а я вижу жизнь перед собой».

И он ружья не опустил, но говорит: «То, что ты сделал, исправь; ты разрушил наш мост, и мы не могли защитить города, когда ворвались предатели, и благодаря тебе обессилена Дельта и восемь месяцев болеет голодом. Исправь то, что ты сделал. Призови четыре ветра и пусть выметут они до-чиста западный Херренрейх».

— Восточный ветер плюнул мне в лицо и все четверо убьют меня теперь,— сказал я.

— Возьми сына и выйди с ним на перекресток, пусть убьют вас обоих,—сказал старик.

Я взял ребенка и вышел, а Трине старик за-слонил глаза, чтобы она не видела, с чем я ухо-жу. И я пошел, опустив голову, и прошел по улице в поле на перекресток и так страшно было мое горе и велико смирение, что я весь затих и в то же время вся паутина сошла с меня из-нутри и ум мой болел: все совершенное мною стало ему ясно. Ребенок нес в себе кровь людей, которых я предал, и ради этой крови я хотел просить ветры сделать для людей то, о чем я один не мог бы просить их.

И вдруг незнакомый ветер тихо прошел мимо, а другой коснулся волос на макушке моего ребенка и третий обнял меня, пропустив руку в мои лох-мотья, но я не верил в прощение. И когда я встал на перекрестке, мне показалось, что я ослеп, так вдруг стемнело. В тишине я услышал голоса животных и рев коров и почувствовал, как в ку-стах зашуршали собачьи тела и ждал, что звери и ветры сорвутся и раздерут меня и ребенка и размечут. Опять тишина и слышу—за рекой задро-жали железные крыши и прошел гул. Тьма стала светлей и я увидел, как в городе полетело в воз-духе тряпье и с шумом взрыва сшиблись четыре ветра на городской площади, и как пошел хлест ветряных полотнищ, и как все четыре ветра обо-гнулись друг вокруг друга винтом и, треща и

вертятся и хлопая, пошли в обход домов, выдувая из дворов всю живность; и потом на время полегли. 2/8)

И вся четвероногая тварь вышла из дворов и пришла к реке, и птицы было без числа, все голуби и воробьи прилетели на Дельту. И южный встал один и ржавой тучей втек в окна, сжег воздух в жилищах и стал швырять пузырями огня; люди вываливались на пороги, и когда вышел последний, ветры разбились врозь и задули и погнали людей к большаку, к старой дороге из Херренрейха в Агнетенбург на запад, и восточный трубил сбор, а трое других поддували, а западный лег наземь и пылил вверх, раздувшись, и тут начали взлетать и нестись по воздуху вещи, простыни, утварь, и вижу: летят Бледе и Литти. И я закрыл глаза, прижав к себе сына; на Дельте была тишина.

Я, Либлинг Тейфельспферд, человек с телом коня, взорвавший мост Дельты в прошлогоднем сентябре, ныне объявляю приказом:

В сорок восемь часов, считая от 6-ти утра апреля такого-то, население должно покинуть город вплоть до последнего квартала. Лишь те, кто не боится голода, упорного труда, потери имущества и не слишком дорожит жизнью, вправе остаться в черте города впредь до выяснения их личности.

В подтверждение приказа раз'ясняю: смерчи и молнии повторятся через двое суток и не будут прекращены вплоть до выполнения приказа полностью. Подписано: правление Дельты, смолильщики, котельщики, огородники, шведы, и прочие такие-то цеховые мастера и бывший королевский драгун Либлинг Тейфельспферд.

Только портные и бурнусники, нрав которых пострадал от сидения на столах, только они нашли, что все это пахнет нечистым. Прочие мастера и те, кто имел дело с огнем, землей и ветром, вынесли постановление о трудовом братстве стихий и человека. Портным дали сильного слабительного, и приказ был вывешен еще до вечера и прочтен гражданами при свете долгой зари.

На другое утро началась погрузка железнодорожных поездов и движение их было усилено многими вспомогательными поездами. А с четырех концов Херренрейха стояли сторожевые ветры, хлопали в ладоши и подгоняли отставших. Чтобы не видеть того, что творилось на вокзалах и по дороге к вокзалам, я выехал в загородный кабачок на холме над рекою и смотрел на то, как прочищается над городом небо.

В то же время я видел как к городу неслись стаи птиц, как над трубами города вились воробьи, ища своих гнезд.

К вечеру потянуло густым и сложным духом из открытых настезь погребов, покинутых конюшен, городской разграбленной оранжереи. Холодный смрад лилий достиг моего обоняния и тотчас его выгнал ветер, и я подумал, что «Белый Парадиз» покинут в эту минуту.

И тут нашел меня Ганс Рюбецаль, освобожденный, и повис на моей шее и громко смеялся.

Гробзак выехал на второе утро и вывез седла и сбруи. Литти улетела днем накануне и ее останков не нашли.

Бедный Виллем Лебенсланг жаждал быть убитым своим неблагодарным народом и пошел с узелком вдоль реки к вечеру второго дня, вторично покидая свое государство.

Он вел себя вызывающе и представлял себя всем прохожим, дрожа рукой, но никто над ним не посмеялся. Наконец он увидел женщину на берегу и, обнажив свое сердце, предложил ей поразить его смертью; женщина, собравшаяся купаться, плотная и совершенно голая, из вежливости повернулась к нему спиной, но спина ее, испятнанная ямками, как бы насмешливо ухмылялась. Женщина не знала о том, что ее прекрасная и невинная спина могла иметь насмешливое выражение, но падшего государя это выражение поразило в самое сердце и он продолжал свой путь, забыв даже свое имя и равнодушный к жизни.

Прошел год. Свобода царила в городе Херренрейх, но границы его были тесны и не раз Агнетенбург подсылал убийц, чтобы истребить мой род и мое потомство. И тогда я решил уйти с сыном и дожидаться в безопасности, чтобы он возмужал и стал силен. Я забрал ребенка и мы ушли в Закавказье. Здесь хорошо и малоллюдно. Когда мой сын устает, я на бегу беру его подмышку и мы вместе мчимся в зелени гор. Но хоть он еще очень мал и легко устает, он никогда не жалуется на усталость.

Москва—Махинджаури.

ДЕВИЦА ЛАНГЛУА И ЕЕ ОТЕЦ

(РАССКАЗ)

Посвящается девице Лариссе Г.

На большой дороге между Камбре и Сен-Кентеном маленький священник дрался с тремя мальчишками. Его колымага с раздробленным колесом стояла возле канавы, и лошадь ждала, опустив ресницы.

Платье мешало драке, и священник разделся, нахлобучив рясу двоим на голову и, поджав обоих коленками, затянул им шеи ремнем. Парни были не старше двенадцати лет, егозливы и несильны. Шест, сломавший колесо, еще торчал из канавы, и третий негодяй ворочал им, освобождая его из-под спиц поверженной тележки, дабы этим шестом пристукнуть аббата сзади.

Однако, священник, спеленав двоих, с видом величайшей деловитости, влез в канаву, отодрал третьего за вихры, втащил его на дорогу и, проволочив за пояс, кинул его рядом с двумя прочими и сказал:

— Свиньи! Расквасить мою дарохранительницу! Распотрошить к чертям мои святые дары! Кто вы, свиное отродье? Какой дьявол вас крестил и какие ангелы в свое время снимут вас с виселицы, вам предназначенной? Молчать, псы, лишённые благословенья! — сказал он и подтянул пояс на панталонах. — О, гады! — закричал он тотчас, они жуют мою сутану! Они жрут ее!

Действительно, один из мальчишек прокусил заплатанное место рясы, коей рваный подол обматывал ему лицо, и просунул язык в черное отверстие на старом сукне.

— Кончено, вы отлучены от церкви, — сказал священник спокойно, и тотчас на детском лице его черные глаза закружились и он закричал:

— Одеваться! Большой экипаж! Давай сюда мой костюм, негодяй!

Но едва он освободил от ремня головы двоих, как обе эти головы ударили его в живот, и все трое пройдох дали тягу, взметая сухой навоз, сенную труху и белую пыль дороги и унося с собой сутану.

Священник боднул воздух ногой, но не давши себе упасть, изловчился, подобрал локти и во всю прыть понесся вслед грабителям, звонко голося проклятия.

Раздался трескучий выстрел; мальчишки сгнули, сутана лежала в пыли и карета, крихтя тяжелым

своим составом, стала возле священника; из окна торчала рука с пистолетом и над ней чернобровое лицо путешественника.

— Вы хотите меня убить,— сказал аббат,— подождите, сначала я оденусь.

Стрелявший молчал; аббат вытряс сутану, влез в нее и подошел ближе. Два чернобровых добрых лица взглянули друг другу навстречу.

У аббата улыбнулись уши, нос и рот, он отставил голову вбок, поглядел весело и засмеялся тихонько, его смех звучал, как «тътътътът», точно его щекотали; он вошел в карету, так как дверца открылась гостеприимно, сел и сказал:

— До первой кузницы, мосье. С 1646-го года у нас беспокойно; в Париже шум и мы не хотим отставать; колесо пополам, а мои святые дары доедят скворцы и лягушки,— и он засмеялся, снова делая «тътът», и чихнул пронзительно и с удовольствием, так как весь был пропитан сенной, мятной и меловой пылью.

— Бездождие, мосье,— сказал он; и путешественник спросил его медленным красивым голосом о том, кто были грабители, раздевшие его.

— О, это мои духовные дети,— сказал священник,— они сломали колесо, а разделся я сам.

— Ваш приход? — спросил приезжий.

— Ланглуа и Шатолятур,— сказал аббат и собеседник его пересел, повернул свой воинственный

корпус, и черным и теплым взглядом повел в сторону священника; этот взгляд был, как прикосновение, добрым и тяжелым.

— Хозяйева Ланглуа еще живы?— спросил он и стал слушать, отведя взор, так как аббат заговорил неистощимо.

— Ланглуа,— сказал он,— мир его праху, пал в битвах и мне неизвестен, но хозяйка и ребенок — это цветущая ветвь; ей тридцать с небольшим, а дочери пять или шесть. Вся моя печаль и все мое восхищение принадлежат этому дому. Ах, каналья,— сказал он, смеясь,— у меня сутана мокрая: негодяй ее замусолил и прогрыз и где же это моя шляпа? Ну, все равно! Ах, сударь, эта женщина — ад и рай моей жизни. Пусть все пойдет прахом, но я спасу ее душу. О своей — я не забочусь ни мало, я вложил ее всю в это дело и многократно запятнал ее грехами; если господу будет угодно спалить ее вечным огнем, пусть палит. Но представить себе в этом огне Мадлен де Ланглуа, сидящей на вертелах ада, о бог мой, пусть этого не будет! Увещания, сударь, ничто, когда в женщине пламенеет мечта и жаждет утоления.

— Вы знаете ее много лет?— сказал военный.

— Четыре года. Ах, эти четыре года!— священник выдохнул воздух широко раскрытым ртом.

— Она имела любовников.

— Одного или двоих,— сударь. Но с каким ог-

нем, с огнем преисподней, с огнем первого грехопадения, мосье!

— Вы с ума сошли,— сказал военный:— порочить честную женщину из-за вздора, не стоящего слов, и болтать об этом с первым встречным!

— Ах, что вы, сударь!— сказал священник тихо,— вы первый, кому я признался— в дорожной карете, проезжему с глазами полными великодушных чувств, человеку подвига и доброты; о, вы правы! я не смел называть ее имени, но вы не повторите его никому; ведь это дорога на юг и Париж далеко. Ах! мне раскалило голову во время драки, а мальчишки били меня головой под сердце и— куда вы едете, сударь?

— В Ланглуа,— сказал тот сердито.

— Простите, кто вы?

— Покойный муж Мадлены де Ланглуа,— сказал военный,— вот кузница.— И открыл дверку кареты.— Прошу вас.

Смотрите, он убивает маленькую траву!
И притом у него большая железная вещь,
И притом он скребет очень громко,
Скребет очень громко притом.

— Девица Ланглуа, вы разбудите господина.

Девица распелась в это утро, туфли ее были надеты на босу ногу и маленький нос посинел в этот ранний час.

— Ах, этот господин здесь спит. Превосходно, превосходно, мой друг. Знаете, у него мокрое лицо, Шарбонне, почему?

— Оставьте его, девица.

Господин, спавший на скамье, был весь в желтых бантах и оттого вдвойне бледен: на щеках его была скорбь и пересохший рот дрожал во сне.

— Смотрите, какой господин уснул в нашем саде!
И притом у господина мокрое лицо,
И притом...

— Теперь я пою, очень тонко, Шарбонне.
Правда?

— Не смотрите ему в лицо, девица Ланглуа.
Идите за мной.

— Мы пойдем на поле в парке.

— И что еще? — сказал громко спящий, про-
бормотал неясно два слова, застонал, проснулся и
сел на скамью.

— Как! — сказал он: — я все еще здесь? Муче-
ние! Стойте! Эй вы!

Девица Ланглуа остановилась и сказала:

— Знаете, мой друг, он разбудит маму, он очень шумит, — и подошла к человеку в желтых лентах и посмотрела на него вблизи и говорит:

— Знаете что, почему у вас было мокрое на лице?

— Здравствуйте, мадемуазель, — сказал де Ля-
триюинь, — я совсем болен.

— А! У вас прострел или парша. У меня есть мазь, которая воняет, я лечила ею козленка, который умер, я принесу ее вам, мосье, да?

— Да, прошу вас,—сказал де Лятрюинь, глядя на управляющего, и ребенок побежал, путаясь в юбках, в обход дома на кухню.

— Шарбонне! Она вас юработала? Вы готовы?—сказал де Лятрюинь:—я спал в саду, а вы где?

— Сударь,—сказал Шарбонне жестко и замолчал.

— Да, да, вы не солжете и я увижу по вашему лицу. Мне было бы лучше убить вас заранее, Шарбонне. Но говорят, что вы прячетесь от нее по ночам, а на день уходите и приходите в час, когда она засыпает, но она скоро перестанет спать совсем. Вам не уйти, что делать, Шарбонне?

Он встал, небольшой и пестрый, потянулся, судорожно зевая. Большой мужик, одетый в ливрею госпожи Шарбонне—управитель, с животным страхом смотрел вверх на завешанные окна дома; длинный рот его был жестоко сжат. Лятрюинь засмеялся, достал две записки и сказал:

— Вот что я написал ей о вас, Шарбонне. «Мадам, ну что за охота! На что вам любовь слуги? И смрад чеснока и пота? И запах босой ноги». Достаточно гнусно. Что это? Мадемуазель Ланглюа, вы мне мешаете! Уйдите сейчас же. Дайте мне договориться с этим мужиком! Да, я буду

кричать! Ваша мама? Вы знаете, что такое ваша мама! Она проснется? Уйдем отсюда, Шарбонне, а это все я оставлю здесь,—он вынул пистолет и шпагу, положил их на скамью и кинулся вслед за управляющим, который уходил к пруду.

Девочка в длинных юбках посмотрела им вслед сердитыми глазами и стала водить пальцем по лезвию шпаги; сзади ее тонкая шея имела вид крайней обиды, бледности и глубоких соображений. Потом она сунула палец в поршочек с мазью и помазала пистолет и шпагу и углубилась в это дело.

— Девица Ланглуа, добрый день,—сказал спокойный голос, но она не обернулась.

Незнакомый человек в военном кафтане сел на скамью.

— Чем вы недовольны, девица?

— Всем,—сказала она.

— Вы не хотите говорить?

— Ни с кем.

— Никогда?

— Никогда.

— Зачем вы мажете эти вещи?

— Я лечу их. От парши.

— Пистолет заряжен?

Она не отвечала.

— Покажите мне ваше лицо,—сказал он тихо,—
Мари!

Она вздохнула и продолжала мазать.

— Что вы любите? — спросил он.

— Ничего.

— Я хочу вам предложить что-то.

— Что? — сказала она и посмотрела ему в лицо. —

Знаете что, мой козленок умер от этой мази.

— Вам надо вымыть руки, — сказал военный. —

Идем, тут круглая кадка. — Мари всунула пальцы в его руку и возле кадки юн вымыл ей руки и сказал:

— Как вы рано встаете, и это всегда так?

— Моя нянька выпускает коров и всех животных к пастуху и мы вместе считаем, больше всего пятнистых, — сказала Мари, — но я еще не сосчитала всех, это длинно.

— Это скотница Жаннетт.

— Да, Жаннетт.

Жаннеттон, Жаннеттон, посмотри:

Две черных, а красных три,

Вот твои животные,

Они идут, идут.

— Это песенка.

— И что еще ты знаешь?

— Еще, больше ничего, — сказала Мари, — нет, еще вот что:

Что это, спит господин в этом саде:

И притом у господина мокрое лицо.

— Я помазала его вещи, что мне за это будет?— сказала она.

— Ничего. Я ухожу, Мари,— сказал незнакомый,— к кому ты теперь пойдешь?

— Не знаю.

— И я не знаю. Чей это дом за деревьями?

— Это? Там живет Шарбонне.

— Кто это — Шарбонне?

— Шарбонне? Никто.

— Но что же он делает.

— Все. Он делает все,— сказала Мари и обвела вокруг себя маленькими руками, стараясь захватить побольше пространства:— сейчас он чистил дорожку для мамы и пошел браниться к пруду с мосье де Лятриюинь.

— Ты знаешь де Лятриюинь?

— Ну да, это мамин любовник,— сказала Мари,— возлюбленный, вы понимаете.

— Прощай, Мари.

— Но мы пойдем вместе!

— Нет. Я вернусь, не иди за мной.

— Нельзя?

— Нет.— И он пошел к выходу.

— Надо было показать ему дорогу, но он ее знает,— сказала Мари и запела:

«Он знает дорогу и он ее нашел очень скоро,
И притом он такой какой-то и притом
Он ничего себе и очень большого роста».

— Шарлемань! Шарлемань! — она побежала за собакой, собака остановилась и, подогнув ноги, помела хвостом дорожку.

— О, какая она хорошая, о, какая она хорошая! — сказала Мари и вз'ерошила шерсть на шее Шарлемань. Собака принадлежала Шарбонне; она глядела жалобно и снисходительно на ребенка и возила рыжим хвостом по песку; ее оторвали от дела.

Тут быстро подошли Шарбонне и Лятриюнь и больше не было ссоры между ними, и Лятриюнь, увидев собаку, погладил ее порывисто, задумался и, отвесив поклон, ушел. В лице его были тишина и благодарные слезы.

Мари повисла на Шарлемань; собака извивалась и слезливо, с мольбой смотрела в глаза хозяина, намекая на затруднения. Шарбонне кивнул ей и взял за руку ребенка. Тотчас Шарлемань распрямилась, кинулась к террасе большого дома, обнюхала ступени, шмыгнула в вестибюль, повертелась, стала за дверьми и вся вытянулась, ожидая. Черный Шарло, ее муж, как всегда, лежал на солнечных часах в полосе горячего света; он презрительно поднял короткое ухо, осуждая суетню Шарлемань.

— Господин забыл свое оружие, вы не трогали его, девица? — сказал Шарбонне. — Я надеюсь, что вы не коснулись этих вещей.

— Я только помазала их,—ответила Мари с кротостью.

— Это очень дурно,—сказал Шарбонне и сдвинул брови; девица поморгала и говорит:

— Теперь мы будем их мыть, Шарбонне, в каддушке?

— Уйди, Шарло,—сказал управляющий,—вечно ты на солнечных часах, найди себе другое место.

Черный пес гордо поднял косматый горб и медленно пошел прочь.

Шарбонне взглянул на часы и на верхние окна.

— Еще нет,—сказала Мари, и он сжал ее маленькую руку.

— Еще спит—сказала она тихо, и он сдержал дрожь и юблизал длинный рот.

— Теперь на парковую пашню,—прошептала девица и обняла его руку у локтя: «Ты мой миленький, Шарбонне, возьми меня с собой». Но он ответил: «Вы останетесь дома» и вздрогнул: занавеска шевельнулась вверх.

— Это не в спальне,—сказала девочка,—Шарбонне! Знаешь что, я люблю тебя больше всех на свете, мне так скучно, возьми меня с собой, Шарбонне,—и побежала за ним, потому что он быстро пошел по аллее, и она не могла его догнать и заплакала. Тогда он вернулся, торопливо вытер ей слезы и сказал: «Девица, я прошу вас не плакать», и был вне себя от страха. «Я опять буду одна!» —

«У вас Шарло и Шарлемань». — «Но это собаки», сказала Мари. В эту минуту раздался стук раскрываемых окон, Шарлемань с веселым лаем мчалась по аллее и, увидев ее, Шарбонне побледнел, схватил шляпу и со всех ног кинулся бежать.

Мадемуазель Ланглуа повесила голову, свесила руки вдоль юбок и поступью ленивой и мелкой поплелась к дому, а дом кричал весь сверху до низу и звал ее. Все пятнадцать человек прислуги пробудились с пробуждением госпожи и голосили во все окна и двери: «Мадемуазель Ланглуа!», ибо госпоже, ее матери, угодно было призвать ее к себе в этот час своего пробуждения.

— Мадемуазель, с кем вы говорили в саду? Да, да, здравствуйте, не трогайте занавесей. Вы с кем-то говорили в саду?

— Да, мадам, это были Шарлемань и Шарбонне, как всегда. И они убежали.

Молчание. Занавесь постели задернута, там молчат.— Это все?— спросила девица Мари и потрогала кисть на кровати.

— Нет,— сказал голос ее матери,— мосье де Лятриюнь был также с вами?

— Немного.

— И никто не шумел?

— Очень мало. Потому что вы спали.

Молчание. Ребенок стоял с усталым несвоим лицом у закрытого балдахина постели.

— Дочь моя! Вы чем недовольны?

Мари сморщила нос и сказала очень тонко: «Мамочка, малюсенькая, знаете что, можно к вам?» Две белых руки вышли из-за занавески и подняли ребенка на кровать. Мари заговорила шопотом: «Здесь никто ничего не слышит и здесь очень много места. Дайте ваше ушко. Вы малюсенькая, малюсенькая, и очень миленькая, хотите я вам расскажу, мне очень хочется».

— Вы меня душите,— сказала Мадлен.— Какой тяжелый стал этот ребенок!

— Я вам рассказываю всю мою жизнь. Знаете, козленок издох, ах, как мне скучно.

— А ваша кукла?

— Она мокрохвостая шлюха, обтрепалась. Невозможно с ней показываться. Ах, как вы превосходны, мадам, ах, как вы превосходны!

— Как она возится. Что за возня!

— И притом она очень, она очень миленькая притом.

— А что было в этом саду, ах, что было.

— А! вы поете,— сказала Мадлен де Ланглуа,— удивительно, этот ребенок не теряет ко мне доверия.— Довольно, мадемуазель.

Сойдя в сад, Мари сказала: «Про военного я забыла, но я невиновата, я просто забыла». И тут она увидела, что посылают верхового, она хотела бежать за ним, но верховой ускакал, не

ответив; она ушла на кухню; там был грохот ножей и скалок, жар от очага, толкотня; ее вывели и Жаннетт посадила ее на ящик в траве и дала молока, моркови и хлеба. Гуси кричали на Мари и на ее морковь и она со страхом оглядывалась на них. Жюстин чистил клистирную трубку и Мари хотела с ним заговорить, но передумала и стала окликать всех проходящих и ей отвечали приветливо, но торопливо. С этой стороны дома все же было спокойнее. Мать никогда не появлялась на черном дворе и не знала черных лестниц, столь многообещающих. И у деревьев здесь была изрезанная ножами кора и железные заплаты. Обручи от винных бочек лежали на траве, гвозди, осколки блюда с бабочками; помойная вода стояла в яме.

— Отчего помойка сегодня синяя? — сказала Мари, но Жаннетт увела ее спать, ничего не ответив. Девица заснула, нагледевшись на коврик с вышитой собакой красного цвета.

В этот час Шарбонне на своем пегом мчался к опушке леса. Его догонял верховой.

— Что за спешка, мосье Шарбонне! — сказал верховой недовольно. — Вот письмо от мадам, поезжайте сейчас же обратно или дайте расписку в получении.

Шарбонне читал письмо, глядя лошадь, поправил седло.

— Вы поедете? Нет?

— Да. Сейчас,— сказал Шарбонне и, повернув лошадь, пустился вскачь лесом, но, вылетев на дорогу, кинулся в сторону от Ланглуа по направлению к проезжему тракту. Тут он осадил коня и, широко раскрыв рот, запрокинул голову.

Верховой остался среди косарей и говорит:

— Вот управляющий, который не прочь стать хозяином дома. Дайте выпить, старый Бобю; жарко.— И Бобю, наливая кружку, сказал:

— Передайте ему, приятель: этот хлеб будет выкошен до половины, вон тот край сгниет на корню. Сегодня последний раз деревня косит господскую пшеницу.

— Странный взгляд у этой собаки. Вы уверены в том, что она не взбесилась,— говорит Мадлен де Ланглуа; подол ее платья занимает большое пространство на полу террасы.

— Нет, мадам, она пьет воду, как всегда,— отвечает Жаннетт.

— Она пристаёт ко мне, Жаннетт, мне это надоело. И стоит мне двинуться из дома, она куда-то мчится.

— Может быть и так,— говорит Жаннетт и глаза ее горят жадной тайной. И тот же огонь еще ярче — в глазах светлоголовой женщины с тупым носом и сильным ртом, госпожи Мадлены, матери девицы Марии.

— Вы мне даете мысль,— говорит Мадлен;— скажите, моя дорогая, когда я сплю, где прячется этот пес..

— Всегда на террасе.

— А когда просыпаюсь?

— Он летит прочь во все лопатки.

— И—к мосье Шарлю Шарбонне? Так. Он приставил ко мне пса Шарлемань, чтобы знать, когда я шевельнулась, двинулась, встала, могу выйти, показаться, заговорить.

— Он боится, мадам, как маленький, хуже!

— Он прав,— сказала Мадлен,— прикажи подавать, я еду. Ах, наконец, я устала! Благодарю тебя за твою скромность, оставайся такой же. Остальное прошу.

На рассвете мадам де Ланглуа стоит на каменной лестнице и глядит в окно, выходящее в сад; еще туман в небе и толстые ночные бабочки застыли на стекле окна.

В этот час Шарбонне делает утренний обход; подойдя к террасе, он оглянулся и тихо свистнул:

— Шарлемань!

Он оглянулся еще раз и вошел в вестибюль и снова озираясь вбок и вниз, идет по лестнице.

— Шарлемань!

Он ищет собаку. Собаки нет на посту, ее нет нигде. А по лестнице сходит хозяйка дома и она

не одета и ему кажется, что она слепа и не видит его, так она идет на него и так ставит ногу на ступень, где он стоит, держась за баллюстраду. И он не движется, потому что весь застыл от страха. И тут она трогает его руку и молчит и улыбается неумолимо, потом произносит:

— Вы не даете мне отчета в делах, Шарбонне, десять дней я не имею сведений,—и губы ее побелели.

— Плохо дело, мадам, плохо дело,— бормочет Шарбонне,— гоните меня скорей.— А она говорит: «зачем, не надо». И мужик Шарбонне хватается ее за плечи и причиняет ей боль, а у нее взгляд неподвижен и рот неподвижен, но смеется.

Жаннетт выглянула из двери маленькой лакейской и спрятала голову. Дело было сделано.

Утро. Девица перед домом.

— Шарлемань, душечка моя, ты где, Шарлемань? Шарбонне, Шарбонне! Шарло, вечно ты на солнечных часах, найди себе другое место.

Шарло смотрит пристально в сторону, зарычал и не двинулся.

— У него хвост не шевелится. Отчего? Шарбонне! Вы где, мой Шарбонне?

Исчез мой Шарбонне, исчезла моя Шарлемань,
И где господин, который вымыл мне руки в кадшке.
И притом это было вчера.

Девушка Ланглуа пела очень тонким голосом и старалась сделать руладу. Сад был сырым в это утро. И вот грохот грубых башмаков на лестнице. Шарбонне бежит вниз, поскользнулся, загремел сапогами в гулком вестибюле и стал в дверях,— лицо, как земля.

— А! вот мой друг Шарбонне! — закричала девушка и повисла у него на локте,— у вас лицо как у святого сегодня. Куда мы пойдём? — И она пошла за ним в сад, но он обогнал ее и она крикнула: «Вы грязный мужик, Шарбонне!» и плюнула ему вслед, и это было хуже всего, так как плевок приносит несчастье.

Следовало это исправить, но раз Шарбонне не хотел ее знать и у него язык во рту не шевелился, незачем было навязываться с любезностями и пусть он извинится первый.

Плеск в пруду. Все же она пошла посмотреть, как он плавает, и вдруг видит, по дороге идет ее мать, мадам де Ланглуа, и не идет, а бежит, бежит, бежит, на голове платок и один чулок надет, а другой в руке; и скрывается в купальне. И Шарбонне нигде не видно.

Тут сошел внезапный холод в сердце девушки Ланглуа, пальцы замерли на руках рот открыт и заострился, как клюв мертвой птицы. В саду стало так, как если бы все умерли и девушке оставалась только дорога в ад.

Так коснулось девицы ощущение несчастья, безрассудства ее матери, потерявшей разум от любви к мужику Шарбонне.

А Шарбонне попал в ловушку потому, что в это утро собака Шарлемань не стерегла дом и не донесла ему о том, что госпожа близко, стоит на лестнице в вестибюле и ждет его появления. Ища собаку, он нашел эту женщину и не устоял, потому что это давно уже стало для него невозможным — устоять при встрече.

А рыжая Шарлемань с веселым хвостом лежала мертвая в канаве. Жаннетт накануне дала ей такой ужин, что он стал последним в восторженной, приветливой, покорной собачьей жизни рыжей Шарлемань.

Военный ночевал в доме Шарбонне наверху и писал с вечера до полуночи. Мать Шарбонне подала ему завтрак и осмотрела его острым глазом, став позади кресла.

— Да, святой Иосиф,— сказала она тихо,— это большая рана, толстый рубец; ухо-то слышит?

— Слышит, мать Шарбонне.

— С тылу удар? — спросила старуха.

— С плеча. Оба мы были на конях и сцепились шпорами, и я угодил ему в левый бок, а он мне под самый затылок.

— И ты его скосил, господин?

— У меня размах был больше; он бил от локтя, а я всем плечом.

— Всем плечом, так,— сказала старуха,— моего то видал? Господина Шарля Шарбонне?

— Видал.

— Нехорош?

— Не очень хорош. Сядьте, мадам Шарбонне.

Она села и сгорбилась: «Ну! что делать! — говорит,— ведь он все равно что пропал, а почему?».

— Боюсь не угадать, старушка,— сказал военный, и мать Шарбонне к нему нагнулась.

— Хорошо ли, почтенный человек! Женщина подстерегла его, как стрелок куропатку, и у него уже ноги подкосились. И выстрела нет, а он падает. Я скажу вам; мосье; я стыжусь такой женщины, это собака и сила ее собачья.

— Мы с вами спокойные люди, не будем судить беспокойных,— сказал ее гость,— кто это во дворе?

— Это он. Что он ищет в колодце? Сударь. он хочет кинуться. Шарль! Шарль! Что ты ищешь?

— Здагавстуй, мать! — сказал Шарбонне сипло,— где Шарлемань, нигде не вижу собаки; с рассвета ищу и — нет. — Не заперта ли в большом доме? — Кто бы мог! — сказал он растерянню, и она грубо ответила: — «Кто хотел, тот и мог». И он выбежал со двора, а она говорит: «Мечется. Уж она получит то, чего добивалась».

— О ком вы говорите? — спросил гость, очнувшись.

— О самой Мадлен де Ланглуа, — сказала старая женщина и презрительно засмеялась.

Гость помолчал и говорит тихо:

— Скажите, хозяйка, кто священник вашего прихода и что это за человек?

— Это ангел христов, куда его черти унесли! Он нужен здесь сегодня до зарезу.

— Да, пошлите за ним. Я нуждаюсь в напутствии, — сказал военный, и старуха взглянула на него с недружелюбной тревогой.

— Вам дурно, сударь? Не рано ли думать о смерти? — спросила она.

— Нет, не рано. Идите за священником. Я жду.

Мать Шарбонне быстро сошла по лестнице и проворчала сойдя:

— Этот добрый господин! Меня бросило в дрожь... приведи кюре, — сказала она мальчишке, — чтоб он бежал бегом, меня бросило в дрожь! Столько людей! И в каждом сидит его собственная смерть! — И она потеряла свои сухие ручки, остывшие в это жаркое утро.

Но кюре не застали дома; в эту минуту он стучался в дверь Мадлены де Ланглуа.

— Только вас хочу видеть! — сказала ему эта дама, — все окна настежь, Жаннетт! И накройте, наконец, постель. Да, хорошо, что сквозняк. Мой

аббат, я в обмороке, я почти мертва.— Аббат молитвенно соединил руки.

— Жаннетт, Жаннетт! — позвал снизу Шарбонне.

— Спросите, что ему? — сказала хозяйка и Жаннетт глянула в окно.

— Простите, я искал вас на кухне,— сказал Шарбоне тихо,— пропала моя Шарлемань.

— А, ваша собака, мосье,— сказала Жаннетт,— она нашла себе молодчика во дворе у де Лятриюнь.

— Поди, поди,— сказала Мадлен,— расскажи мосье твою историю, нам не до тебя. Абатт, сядьте вот здесь.

И Жаннетт ушла и увела Шарбонне из-под окон.

— Аббат, где вы, что вы там делаете?

— Я покрываю вашу постель, мадам, и — с каким благоговением! Я благословляю ваше святое счастье, мадам. Он вернулся позавчера. На исходе дня я имел честь с ним встретиться. Великодушный, истинно-глубокий человек!

— Не совсем понимаю,— сказала Мадлен и рассмеялась.— Что с вами случилось? Подите же сюда. Я совсем без сил и без чувств. Умница моя,— сказала она, целуя его голову,— вы меня поздравляете. Какая святость! И я святая сегодня. Благодарю! Более того, я схожу с ума от святости. Блаженны блаженствующие! Ах, кюре, если бы не

он, я любила бы вас иначе, но ненадолго, в вас много скуки, оттого что вы дворянин, мосье. Эта кровь расшифрована, нельзя вечно любить то, в чем нет неизвестного.

— Бог мой, как все это неуместно! — сухо сказал священник, — я хотел бы видеть мосье; он не дворянин? Это странно и неслыханно; но человек подвига равен небесным чинам, о чем говорить! Разрешите мне представиться вашему мужу!

Мадлен посмотрела на него, резко подняв голову, и сказала:

— Но это помешанный, о ком вы говорите?

— О том, кто разделял с вами это ложе, — сказал священник и отступил к двери, бледнее; он всплеснул руками, сжал их и потряс ими над своей головой.

— Несчастливая! несчастная! — прошептал он, — несчастная. Кто был здесь с вами этой ночью! — и госпожа встала.

— Мой управляющий! — сказала она грозно, — идите вон, комедиант, ваше кривляние ужасно!

Священник столкнулся на лестнице с Жаннетт и выбежал вон и стал, остоленев, в саду.

Мадлен навеки заклемила себя в тот день, когда вернулось ее счастье.

В эту минуту отчаянным шопотом двух женщин шелестело в спальне: обе, сжимая друг другу руки, задыхались.

— Жаннетт, вы ее спрятали поблизости, сумасшедшая! Уберите ее, надо зарыть.

— Она большая, мадам, я с трудом донесла ее туда. Кто мне поможет? Всякий донесет мосье Шарло. Он что-то подозревает и он вне себя.

— Если он узнает! Жаннетт! Куда он ушел?

— К де Лятрюинь, я сказала, что собака бегаёт туда.

— Он пошел к де Лятрюинь! к де Лятрюинь!

— Но чтоб выиграть время, мадам, это было необходимо. Кто поможет мне зарыть эту мертвую собаку? Надо торопиться. Он жесток, из-за собаки он станет жесток, мадам!

— Да, я знаю. Аббат! Аббат! Аббат! Вернитесь! Большое несчастье, аббат! Жаннетт, пойди к нему, скажи. Шарбонне не простит никому. Он жесток.

— Я возьму простыню,— сказала Жаннетт и, сорвав простыню с постели, помчалась вниз.

— Дорогой господин кюре,— Жаннетт лепечет и дрожит,— на минуту! Сюда, за мной, возьмите простыню; скорее! Это близко. Идите, идите, кюре. Держите ветку; тут сыро; о, я задыхаюсь.

— Что случилось? Что еще случилось?

— Надо убрать мертвую собаку. Во имя Иисуса помогите. Мадам будет несчастна, она сойдет с ума, если мосье Шарль узнает.

— Ах! это Шарлемань!

— Заверните ее.

— Бедное животное. Кто ее убил?

— Она сторожила. Она мучила мадам. Я расскажу. Есть яма за садом. Туда. Нет, во второй пруд внизу: мы положим камни в простыню и завяжем. Если он не вернулся, там пусто, у пруда. Беритесь за этот конец.

Они перебежали с своей ношей дорогу и прошли в парк со стороны леса; здесь было много тонкого сухостоя и он трещал и падал и вновь трещал под ногами.

— Кюре! Вас просят к напутствию.

Священник стоял, прислонившись лицом к стене, и свирепо молился, смиряя жгучесть гнева, растерянности, страсти и отвращения. Он не успел до-молиться, он только начал, латынь не влилась еще в душу.

— Кюре! К напутствию.

— Я не пойду. Ты разбил мою дарохранительницу, свинья! — сказал аббат.

— Это не я, это Жиль, — малый хихикнул, — идем, а то меня взбучит хозяйка. Возьмите вот это вместо даров, — и подал ему медный футляр. Кюре вырвал у него из рук эту вещь и спросил:

— Где умирают?

— У Шарбонне.

— Шарбонне! — Священник схватил шляпу и сдвинулся быстро; ведра стояли во дворе. Сунув

футляр под мышку, он сполоснул руки в ведре и вытер их подолом нижней рубахи.

— Идем.

— Где мой хлеб?

Деревня. Мертвая улица. Шарбонне скачет на пегом, бьет плетью с размаха в закрытые окна, прикладом ружья стучится.

Молчание, пустыня.

— Где мой хлеб?!— кричит Шарбонне.

Он гонит коня; вторая улица; осадил у ближнего дома, бьет ногою в дверь. Дверь приотворили. Черное лицо не мужское и не женское смотрит из щели.

— Кто вывез ночью мой хлеб с парковой пашни?— говорит Шарбонне, и голос его придушен, а на губах пена.— Где сложен мой хлеб?

Дверь затворяется изнутри на задвижку.

Шарбонне поднял коня на дыбы, передние конские ноги обрушились на перекладину двери; хрустнула доска, дверь осела боком, и в шею лошади стремительно вонзились три острия навозной вилы. Шарбонне скатился с седла и, подняв ружье, стреляет в темноту за дверью. Упавшая лошадь кричит и затихает: язык выпал и зажат в желтых зубах, верхняя губа поднята, дрожит и стынет. За дверью тишина.

Шарбонне бежит, возвращаясь к дому Ланглуа.

Три года назад был поставлен его дом позади господского парка и он пришел к госпоже, старый управитель умер за неделю.

— Госпожа, я сын Шарбонне.

— Не помню.

— Он убирал весь сор и хворост в доме и в лесу.

— Возможно. Что вы хотите?

— Это мой дом там, за деревьями, госпожа, дом Шарля Шарбонне.

— Хорошо,— сказала она нетерпеливо,— знайте, мосье, я за то, чтобы Шарбонне строили себе дома, но против того, чтобы Шарбонне со мною разговаривали. Жаннетт, проводите этого домовладельца.

Его вывели. И привели обратно через неделю и сдали ему правление хозяйством Ланглуа.

Он всегда вспоминал это на ночь, и от этих мыслей как бы горячий ветер выходил из земли и охватывал его крепким жаром и большое мужицкое его лицо темнело от ужасающей радости.

Прошлой ночью крестьяне вывезли с поля к себе ее хлеб, хлеб белой Мадлены, госпожи, любящей его ненасытно. С ночи до полудня он пробыл с нею в доме и на пруду: потом искал пса у Ля-трюинь, и только там узнал о хлебе и полетел в деревню; и тут убили его коня.

Хорошо.

Через час собрана дворня, обоз, верховые ружья, Шарбонне ведет их в деревню, к хлебной башне. Деревня тиха.

Сделано. Ранний вечер. Вода в реке — цвета бури, небо над ней темно и тихо, и только два ярких белых облачных лохмота летят вверху. На кривых каменных сваях — убогий мост, и врозь стоят по берегу косоротые островерхие дома крестьян. Бревенчатая башня, где хлебный склад, разметана руками грабителей и ветром: хлеб выбран людьми Шарбонне, желтизной соломы засеяна кругом мертвая земля; три башенных крыши в черных проломах, — там мечутся охлопья разбитых снопов, в окна выдувает последний хлебный сор.

Сделано. Обоз ушел. Шарбонне один, терзая коня, влетает в разверстые ворота башни; стая птиц вырывается ему навстречу и бьет в лицо, шляпа слетела. В хлебной башне свет из пробитой крыши; на черном полу сорно, пусто, выгребен последний сноп.

Он не был у матери с вечера. Мать ждет.

В комнате гостя — священник: там горит свеча.

Тучи закрыли небо.

Мадлена спит; спит целый день. А Жаннет ищет девицу Ланглуа: маленькая Мари исчезла.

Мари ушла утром из дома. Она видела мать, бежавшую к купальне, и видела, что в купальню

плыл Шарбонне и, плавая, выплевывал воду ужасным ртом, и Мари со сжатым горлом ждала крика матери и скандала и топала ногой; но было тихо и Шарбонне не выплыл обратно.

Она не могла этого понять и только застыла вся и у нее заболели маленькие жилы на руках и на шее.

Она медленно пошла прочь, лесом, чтобы никого не встретить и дошла до нижнего пруда и там спряталась.

Потом к пруду пришла Жаннетт и кюре и собирали камни в простыню, а в простыне была мертвая Шарлемань. Когда это бросили в воду, Мари не могла уже оставаться здесь и пошла опять и, застряв в частых кустах, плакала; ее голос услышал садовник из дома Лятрюинь, привел ее в замок и передал своему господину. Тут она могла рыдать сколько ей было угодно, потому что господин де Лятрюинь не обращал на это внимания и ходил от стены к стене и осматривал свои пистолеты, рапиры и ружья, а слуги его и толстая Пантош кормили ее, грели и мыли ей ноги, но плакать не возбраняли. Это помогло ей, и в тот час, как ей полагалось, она недолго поискала глазами красную собаку и тотчас увидела ее во сне и, заснувши, к обеду проснулась.

Ей очень понравилось то место, где усадила ее после сна Пантош на великолепное кресло с круг-

лым отверстием в сиденьи; кругом висели коричневые ковры с голубыми и желтыми птицами, деревянной сенью и оленем; у большого завешанного окна нежно дымила благовонная свеча. Здесь увидел ее Лятрюинь, и она сказала ему:

— Я сейчас. Ваша Пантош меня опоила.— И он задумчиво постоял, а она, выходя, сказала:— Благодарствуйте, мосье.— И потом они провели вечер дружелюбно.

Парк де Лятрюинь переходил в лес с запада, а на востоке тот же лес оканчивался именем де Ланглуа. Река текла вдоль всего лесного участка, и на другом ее берегу высоко стояла деревня. Спиную к лесу прижат был дом Шарбонне и смотрел на реку и на деревню двумя горящими окнами в этот вечер.

Старуха Шарбонне спала внизу, а вверху ее дома играл пожар и там было пусто.

Священник, Жаннетт, Шарбонне и его гость в этот час бродили по лесу и звали девицу Ланглуа; Жаннетт рыдала громко и кликала нежными именами свою воспитанницу. С пяти часов баграми разрывали дно верхнего пруда и только в купальне нашли чулок мадам и мужской пояс. Когда перешли к нижнему пруду, Жаннетт затихла и заледенела. Багор зацепил и выловил на берег простыню и в ней камни и труп собаки. Шарбонне

узнал свою Шарлемань и узнал вензель Мадлен на простынном узле; он испытал чувство гибели в эту минуту и тотчас жестокое спокойствие им овладело.

— Я ухожу,— сказал он,— стемнело, идите вдоль дороги в Шатолятур, я привезу факелов.— И скрылся.

Двое мужчин вышли на дорогу; Жаннетт рыскала между деревьев и больше не кричала. Священник, сжав зубы, бормотал молитву.

— Перестаньте,— сказал его спутник. Кюре остановился.

— Мосье,— сказал он,— история с собакой меня беспокоит. Зачем ушел Шарбонне? Вы были моим исповедником сегодня, но я не сказал вам только одного: я люблю вашу жену и боюсь, что в эту минуту Шарбонне жесток с нею. Позвольте мне вернуться в дом, я не в силах оставаться.

— Хорошо,— сказал бывший муж Мадлены де Ланглуа и быстро пошел вперед; а священник, спотыкаясь, кинулся бежать по дороге обратно.

Лятрюинь снял свечу с камина и поднял ее перед собой.

— Ланглуа! Это вы? И вы живы?

— Добрый вечер, Лятрюинь,— сказал военный,— случайно я жив и вернулся.

— Вот ваша дочь, Ланглуа.

— Здравствуйте, девица Мари, вот вы где! — сказал военный.

Мари, подумав, отвечала:

— Я больше не дочь, это кончено. Теперь я живу здесь. Что ж вы так долго не приходили? Возьмите меня на колени. Вы спите?

Ланглуа сидел в кресле, закрыв глаза. В старом доме было тихо; на полу, потолке и в зеркалах лежал свет свечей и свет луны, и розовая дрожь отражалась под оконной занавесью.

— Кто это пищит так маленько? — спросила девочка и подняла лицо к подбородку военного.

— Это цикады, Мари, — сказал Лятриюнь, — я обязан вам большим отчетом, Ланглуа.

— Нет, — сказал Ланглуа, очнувшись, — все это малые дела, Лятриюнь. Я уезжаю завтра. О вас мне все рассказали... Двадцать три тысячи человек умерли в тюрьмах в течение года за то, что не смогли заплатить оброка. Двадцать три тысячи. Какой это милый ребенок... Я скрываюсь от короля, мосье, и мое имя теперь другое. И мое дело теперь — война внутри королевства.

— Благодарю за доверие, — сказал Лятриюнь.

— Двадцать три тысячи мертвых — это дело вашего дяди, Эмери, и кардинала, это низкие воры.

— Совершенно верно, — сказал Лятриюнь, — это воры. В Париже шум?

— Недостаточно,— сказал Ланглуа,— и потому я возвращаюсь туда и выеду еще этою ночью. Вы не видите: она спит? Она бежала из дома?

— Да, Ланглуа. Она видела в доме вещи, ей непонятные, и все же она тяжело оскорблена. Что это?

— Она дрожит очень сильно,— сказал гость,— Лятрюинь, вы мне дадите экипаж и лошадей до Н.? Я собираюсь.

Лятрюинь вышел распорядиться и, вернувшись, увидел, что Ланглуа сильно взволнован и смотрит на него темным горячим взглядом и хмурится и говорит:

— Вы оставите ее у себя, Лятрюинь?

Тут девица пошевелилась и сказала:

— На потолке красно и кто-то ходит на потолке.— И села прямо на коленях гостя и запела сонным голосом:

— Знаете что:

Он спал в нашем саде и притом

Я помазала его вещи вонючей мазью,

И они все умерли, а я стала жить в его

доме и притом

Эта толстая дама была Пантеш.

— Девица,— сказал Лятрюинь,—я взращу вас.
И девица распелась и продолжала:

И я тоже взращу вас, я тоже притом

И притом кто топчет там вдали?

— Кто это прошел на потолке? — спросила она вдруг, — как там красно!

— Это тени из окна, — сказал Лятрюинь и взглянул вверх и вскочил.

— Пожар, Ланглуа! — сказал он и кинулся к окну; и тут топот коня прогремел по камням и осадил во дворе, и в дверь ворвался священник с почерневшим лицом и кровью на руках.

— В Ланглуа, господа! Дом Ланглуа горит! Мадлена спит наверху; крестьяне окружили дом и не дают тушить. Дворня разбежалась. Спасите Мадлен! — Он закричал и зарыдал в неистовом горе.

— Возьмите ребенка, — сказал Ланглуа слуге и обнажил шпагу, взял пистолет и стал у выхода.

— А что же делает Шарбонне? — завопил Лятрюинь.

— Шарбонне негодяй! Он кричит ей: «Гори! Гори! Гори!» Он сошел с ума, он пляшет вместе с мужичьем, но они его разорвут. Это ад! Скорей!

Лятрюинь сорвал ружье со стены, дал другое аббату, но они не вышли из двери. Гость, молча, заградил выход.

— Ланглуа, ваша жена горит! — сказал Лятрюинь с ужасом.

— Безразлично чья, — ответил его гость, — положите ружья.

— Ланглуа, я возьму с собой три десятка парней, два залпа — и она спасена.

— Этих двух залпов не будет,— сказал Ланглуа.— Вы поняли — нет? Тогда я стреляю.— Схватив свечу, священник с визгом кинулся на него, но Ланглуа ударил аббата наотмашь локтем под горло, и тот упал, пронзительно икнув.

Лятрюинь не сводил глаз с лица человека, заградившего его дверь.

— Она горит, Ланглуа! — сказал он тихо,— женщина! — И сел и стал плакать. И это продолжалось долго, около часа. Священник лежал в беспомощности, Лятрюинь всхлипывал, лицом на столе, и кусал себе руки.

— Ланглуа стоял у двери и смотрел в окно; зарево взлетело выше, стало рыжим, дымным: «упала крыша,— подумал Ланглуа,— кончено».

В комнате рядом сонно пела девица, его дочь.

Кто-то шевельнулся за дверью, и он ее приотворил.

— Сударь, карета готова,— сказал голос. Ланглуа постоял в темноте, еще дрожащей от дальнего света, и вышел.

Он ехал ночным полем, в Париж, и долго видел дрожь зарева позади, и впереди — его отражение в облаках. Внутри его все дрожало, уничтожающим огнем, и он метался от окна к окну, раскачивался и напевал:

— И притом они умерли, эти вещи, притом —

И притом потолок был красный и кто-то кричал

притом.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ БЛАГОЧЕСТИВОЙ НАННЕТТЫ РУМПЕЛЬФЕЛЬД

Оттого, что я смолоду была так мала ростом, жизнь людей проходила слишком близко возле меня. В моем присутствии не стыдились того, чего стыдились бы или что захотели бы скрыть при виде взрослой девушки, какой я и была на самом деле.

«Что это за благочестивое насекомое?» сказал синьор Пьетро, разглядев однажды мою фигуру, но он не увидел даже моих глаз. Люди хорошо знали мое склоненное темя, тогда как мое лицо пряталось на высоте их пояса.

Вследствие крайней скромности, я редко поднимала взгляд и, не видя человеческих голов, научилась понимать, что правдивые страсти людей гнездятся в области брюха, а в верхних сферах — головы и сердца — царит красноречивая ложь.

Между тем я писала стихи и в тонкой диалектике нередко превосходила мыслителей мне современных. Иногда я размышляла: не подобны ли мне

растения и травы, птицы, звери и даже крохотные твари в виде мух или ползающих личинок, которых люди не стыдятся даже убивать и о которых не знают хотя бы двух верных вещей. Впоследствии будет видно, что господин Пьетро не раз высказывал мысли, подобные моим, я читала мысли свои, но он преображал их наглым умом в холодное зло.

Между тем ни о ком в этом столь привлекательном мире я не грезила с таким буйным самозабвением, как о синьоре Пьетро.

Впервые поразил он меня своею наружностью и поступками, когда я гостила у старого исповедника моей тетки. Пьетро, прискакав ночью, затоптал любимую курицу каплана и погубил три боченка вина, смешав красное с белым, и все из-за того, что старый священник на вечерней заре прославлял имя брата Джироламо Саванароллы, сидя со мной под большим ореховым деревом. Он снимал с коры его муравьев и обучал меня лакомиться муравьиным тельцем, утверждая дряхлым и шустрым голоском, что муравьи кисленькие, а брат Джироламо святой.

— Добрый вечер, господин, добрый путь,— сказал он наезднику, придерживавшему коня возле старой орешины, и продолжал журчать хвалу муравьям и святому.

Седло скрипело под седоком, дерево и кожа

седла пищали; ночь принесла седока или он принес с собой ночь, но вдруг стемнело; наездник хлыстом сбил шапочку с головы доброго каплана, каплан закрыл руками седую плешь и долго стоял, моргая, пока кондотьер топтал его кур, а двое конных слуг его разбивали боченки с вином.

Круглая черная поверхность вина в самой большой бочке громко глотнула желтую струю светлого вина, желтый ток прозрачно лил, дробя красными жилами чистую темную густоту.

Так погубил господин Пьетро вино каплана, три бочки, лучших. Ночью заплаканный старик хоронил четырех пестрых кур, гармония мира была нарушена, а наездник, с'евши наш ужин, уехал, крикнув: «Славь Саванароллу, муравей!». Где-то в ночи скрипело его седло, и конь летел, танцуя, сжатый ногами господина Пьетро. Строение его ног меня поразило: они изгибались и вбок и вперед и имели короткую высокую стопу и голос его был резок, как голос козла. Я спросила: «Отец мой, быть может, это нечистый?» Но священник, быстро накидывая лопатой могильный холм над трупами кур, пробормотал: «Хуже, хуже, значительно хуже, дитя, это синьор Пьетро, враг Джироламо, святого».

Очаг разгорался; пена бобовой похлебки кипела, строя гримасы в рыжем горшке, было рано;

тетушка храпела за полуоткрытой дверью; горячий луч из сердцеобразного прореза ставни трогал ее спящую руку; даже по этой тупой и светлой руке было ясно немецкое происхождение моей тетки Румпельфельд. Катэ еще не возвращалась с овощами, и я сама лепила лепешки из серого теста, швыряла их на железный лист, и пар от лепешек, охваченных огнем, пахнул глубоким счастьем. Каждое утро я была счастлива оттого, что восходило ушедшее накануне солнце, и по утрам я думала о соседке, молодой женщине, чрезвычайно счастливой в браке, и прислушивалась к ударам молота во дворе под навесом, где великий мастер Бокаротта работал над камнем, делая большую фигуру.

Любя утреннее одиночество, я все же нетерпеливо ждала Катэ, чтобы, оставив на нее очаг, сбежать к мастеру с рассказом о вчерашнем приключении у каплана.

Тут как нарочно постучался и вошел паршивый Фаццолетто, подмастерье чеканщика, мой единственный поклонник, немьгтый, с сияющим коричневым носом.

Увидев меня одну, он решил: вот утренняя добыча, и стал наступать, а я пятилась, давши ему в одну руку котелок, за которым он явился, и в другую мокрое полотенце; так мы протанцовали вдоль стен и ему не удалось припереть меня в

угол, потому что, благодарение богу, чудная моя, вечно молчавшая Катэ вернулась домой с овощами.

Тем временем удары во дворе прекратились, фигура под навесом стояла одна, подняв напряженные плечи, отягощенные глыбой неотбитого камня; мраморный сор усеивал землю; я решила пройти в рабочий зал и послушала немного возле двери мастера, тяжелой как ворота. Мастер рычал и сопел и я ждала перерыва в рычании и отколупывала острый каменный сор, приставший к босым моим подошвам.

«Можно посмотреть?» говорю я тонко и кротко и налегаю на дверь, потому что, раз он молчит, значит можно. Дверь взвизгнула и прохотала. Я вошла. В рабочем зале сырость, запах восковой, церковный, торжественный, на стене лиловые великаны с нежными пальцами рук и ног, с мягкими ртами новорожденных и крутолобых зверей. Серый конь с великолепным раздвоенным крупом бьет ногой в дымящийся сизый камень.

Я говорю тонким голосом: «Поистине, сам господь посылает вам дивные видения, мастер», и жмурюсь от страха; тяжелая дверь длинно взвизгивает на сквозняке и мастер говорит: «Не ври, заморыш, я рисую то, что есть и то, что видел в действительности, и в числе прочих господ сам господь приходит ко мне поучиться».

«Так вы их видели — этих людей и коня?» — говорю я, и он отвечает:

«Вижу трижды в неделю и чаще».

«Где?».

«На острове прообразов».

«И это далеко?».

«Как когда, — сказал он, — это пловучий остров. Он висит высоко над землей, но его притягивают тучи и вечерние испарения; он проплывал над срединной Италией позапрошлогоднюю осенью и сильные августовские бури задержали его надолго; мы четверо — я, Сан-Дonato, Бенвенуто и Караччи, многим отсюда попользовались. Монахи Чертозы добыли там рецепт ликера и новый покрой плаща взял с острова прообразов портным Эссорчьерри, и фонтан в дворцовом саду сработан с помощью этих красавцев; а если хочешь, Наннетта Румпельфельд, я добуду тебе мужа из этого сборища, — только боюсь, что он не подойдет тебе по размерам».

Тут я поняла, что мастер рассказывает мне вздор и смеется над моей неопытностью.

«Боюсь, что вы еретик и соблазнитель, о мастер», — сказала я, и покраснела, так как мысль о подобном фиолетовом и гигантском муже показалась мне обольстительной. Я торопливо перекрестилась, а мастер взял мою руку и показал мне тонкие затвердения на концах моих пальцев.

— Четки вечно скользят у тебя в руке, Наннет-

та,— сказал он,— и в первую твою брачную ночь ты не положишь их под подушку, а будет вот так,— и он набросал на белой стене постель, изпод спущенной занавески висела вверх ладонью моя рука и сведенные пальцы судорожно перебирали зерна четок, сходство руки было неприятно настолько, что я побледнела и, сложив руки, слегка помолилась, ставши к нему спиной.

— А брат Джироламо оттуда? — спросила я и охнула, вспомнив вчерашнее происшествие у каплана и тотчас рассказала все о наезднике, о паре конных слуг его, о раздавленных курах и о погибших двух бочках лучшего вина.

Мастер стянул морщины над левой бровью и выдвинул бородатую челюсть, повел ею вбок и долго думал. Он думал, как звери, глядя в пространство и видя глазами, как причины рожают следствия, и в конце нередко брал картон и рисовал свой вывод на картоне в виде движущихся фигур.

— Не первый признак,— сказал он,— это не первый признак того, что господин Пьетро, мой заказчик, вернулся во Флоренцию. Поди-ка на кухню и посмотри, во что завернуты овощи и плоды, принесенные служанкой.— И я побежала к Катэ.

На большой твердой бумаге, запятанной соком ягод, размытой печатью, написано было следующее:

«Угроза святейшему престолу. Заговор Саванароллы совместно с сарацинами. Письмо Великого Турка к Святому отцу, составленное им совместно с нечестивым, грязным и богохульным монахом Джироламо Саванароллой:

— Морбезан, Хопрезан и братья Каллабилабра, кавалеры Восточной империи, и сеньор Ахайя великому первосвященнику Рима, возлюбленному нами, если он того заслуживает.

Дошло до нашего слуха, что Вами обнаружено в стране, будто бы каждый, желающий с нами воевать, получит прощение в земной жизни и бессмертие в будущей.

Этому мы удивляемся.

Так как если бог дал Вам таковое могущество, то Вы должны им пользоваться более разумно. Ибо наши предшественники никогда не соглашались на смерть Иисуса Христа, не владели святой землей и даже всегда ненавидели евреев, которые, судя по Вашим хроникам, предали вышеназванного пророка в руки Пилата, президента Иерусалимского.

Сверх того их земли обещаны нам нашими пророками и Джироламо Саванароллой, великим пророком Флорентийским.

Если после всех вышеприведенных доводов Вы будете продолжать несправедливые нападки, измышляя козни против нас и брата

Джироламо, будьте уверены, что мы поднимем всю нашу мощь, рассеем ваши походы на суше и на море, возьмем остров Геллеспонт, возьмем Далмацию, Кроацию и все прочие области Аквилона и с помощью великого бога Юпитера раздавим Вашу гордыню, утвердим в Риме полумесяц и в его сиянии возведем на престол первосвященников великого пророка Саванароллу».

Дано в нашем триумфальном дворце в год
11 Магомета в месяце марте.

— Что это, Катэ, дорогая?— сказала я.

У Катэ были огромные молчаливые глаза смиренной лошади и она, чистя лук, выразительно на меня посмотрела.

— Высокий человек проезжает по городу, стоя в седле, и бросает эту бумагу прохожим,— сказала она тихо.

Последнее время в нашем городе многое изменилось. Всегда во храме св. Марка были особенно злые белокурые блохи, но никто их не слышал и не чесался, когда говорил фра Джироламо. Но еще прошедшим постом во время его проповеди многие скрыто скребли себе плечи и поясницы, укусы блох отвлекали их от высоких мыслей.

В то же время на всех перекрестках, не скрываясь, работала языком партия изгнанного тирана.

Люди стали вялы, и нередко рабочий, подняв молот, забывался, не ударяя, и молот падал позади его спины и отшибал ему пятки.

Письмо Великого Турка ходило по рукам, не вызывая ни должного отпора, ни даже полного недоверия.

Затем одно за другим присланы были из Рима два отлучения фра Джироламо, одно из них явно подложное, составленное в выражениях более достойных рыночного зазывателя, нежели римского первосвященника. Саванаролла в это время был тяжело болен, и фра Мафруччи, монах, говорил, что он даже не раскрыл глаз, услышав обо всем происходящем, но протянул руку и, взявши два отлучения и сарацинское письмо, с закрытыми глазами порвал всю пачку надвое и бросил, продолжая дремать или грезить.

Между тем странное равнодушие овладевало городом, ходили вздорные рассказы, передавались темные слухи, недостойные мудрых уст Флоренции.

Саванароллу видели перед зарей на мосту, несущим двух черных петухов, и распутная женщина помогла ему перерезать им горла.

На окраинах города появлялся верховой с лицом и сутулой посадкой Саванароллы, и две женщины сидели на его коне — одна впереди, другая позади его седла.

От одной городской башни к церковной колокольне был протянут канат и брат Саванаролла ходил по канату, и папская тиара на длинной палке служила ему балансиrom.

В годы счастья брата Джироламо мы были счастливы; правда, большое дело давно уже велось против него. Папа Александр трижды подвергался горькой рвоте, ибо монах восставал на Рим, на церковь, на Александра и не скрывал наглости своего бунта. Он не внимал отлучениям и отвечал смиренным отказом на вызовы в Рим. Фра Мафруччи, монах, рассказывал Катэ: «папа шут с погремушкой — так говорит Джироламо — папа бьет погремушкой по головам городов и подзывает к себе Саванароллу: приди, поближе подойди, монах, чтоб я откусил тебе голову».

Еще, надо сказать, к тому времени, зашевелились наемные войска, пробираясь в окружных горах, называлось то или другое имя высоко стоящих лиц, стремящихся к захвату власти; в городе внезапно приобретали влияние люди, враждебные правлению народа.

Наступил день, когда Саванаролла встал, больной, шатаясь, чтобы говорить с народом.

Храм был полон мужчин.

Помню, что все подбородки были подняты вверх, затылки запрокинуты, и судорожные рты полуоткрыты. Ждали.

Кафедра все еще была пуста.

Свечи наклоняли пламя в разных направлениях, так тяжело было дыхание людей.

Наконец там, куда все смотрели, появилась рука, хребет темной рясы; рука ползла вдоль ограды кафедры, поднялись плечи, полумертвое лицо химеры глянуло вниз,— и те, на кого упал ужас этого взгляда,— те с закрытым ртом простонали.

«Флоренция» — сказал Саванаролла ясно, слабо, утвердительно: «Флоренция», — и замолчал.

Свечи горели прямо, ибо целую минуту никто не вздохнул. Но когда монах вновь поднял голову, вихрь воздуха прошел по церкви, и много свеч погасло.

Монах снова взгляделся сверху в лица людей и сказал:

«Они ждут изречений и текстов. Они ждут нечто услышать от меня и от имени бога. Когда же мы с богом услышим что-либо от тебя, Флоренция?». Тут он взметнул руку вверх и прокричал: «Когда же услышу я что-либо такое, за что бы я мог не проклясть моей жизни, которую я отдал вам, люди!

«Нынче я не кричу о добродетели, ибо это снедь мудрецов и сильных,— здесь же я вижу заиспаных блудников, которые чешут себе спину, всхрапывают и пускают слюни; голос мой для них — крик петуха, которого режут — не больше».

Саванаролла поднял голову, вдохнул воздух, пот

изнеможения светился над его бровями; он продолжал:

— Но я говорю вам: вы ввергаете меня в смертный грех гордыни, ибо как могу я жить, считая, что я подобен вам, обокравшим свою жизнь и мою жизнь.

— Кому лучше меня известны Ваши мысли о фра Джироламо, молчание ваше подобно крику: распни его!

— Нет, я не обращаюсь к тем, кто принес нож под плащом, рассчитывая покончить со мной еще сегодня, нет; но я вижу позорные лица тех, чьи сердца немного дней назад содрогались моим содроганием о судьбе Флоренции и человечества. Не опускайте глаз! Не опускайте глаз! — завопил он — перегибаясь вперед, и люди шарахнулись, прижимаясь друг к другу.— Не опускайте глаз!— прогремел он,— ибо не смотрит в глаза отчаявшийся и неверящий.— Верьте! Кто обступил окрестные горы и руку занес на ваше горло? Тирания и Рим совещаются о тебе, Флоренция. А ты что делаешь? Ждешь. Ты говоришь: это дождь, его унесет ветер. Или: мы не можем дуть подобно ветру,— пусть будет дождь. Но этот дождь будет дождем твоей крови, Флоренция. Молчи. Опустит глаза. Тирания будет восстановлена не далее десяти дней, ибо сердце твое охвачено растлением, рука онемела и мозг твой в параличе.

Я видела как люди бледнели, прислоняясь к колоннам, как вздрагивали головы и плечи, как поднимались скулы, как бы зловещей улыбкой, двое оскалились одновременно, под плащами оттопырились локти, щупая нож.

— Разбойник Медичи стоит у порога города. Флоренция, ты не стесняешься с самим Христом — и будешь стесняться с разбойником! Десяток разбойников внутри города готовятся открыть ворота Флоренции кровавому позору. Держи их! Наказывай, тебе говорю! Режь им голову! Режь им голову! Режь! Кто бы он ни был, хотя бы отец твой, режь ему голову!

Вопль раздался многоголосый, людей разбрасывала ярость, толпа образовала воронку вокруг двух сцепившихся, то здесь, то там на плиты храма падали люди в борьбе, кусаясь, выхватив мечи в защиту проповедника. Группа молодых людей устремилась вперед. Меня оттеснили к выходу. Поток людской хлынул на церковную паперть, вслед неся голос раненого орла: «Только двух вещей желайте: «бороться до смерти и смертью своей победить!». Тут я взвизгнула тонко, так как меня отшвырнули на край лестницы; я скатилась вниз клубком и, подобрав юбки, помчалась во весь дух и очнулась только в рабочем зале мастера в углу.

Он закричал на меня страшным голосом, потому что обливался водой во дворе и был в чем мать

родила, мне сделалось дурно, и пока я очнулась, он успел одеться и спросил в чем дело.

— Мастер, они разорвут фра Джироламо, они зарежут его, все с ножами,— сказала я.

— А где же эта дрянь Капабуона? — спросил мастер.

— Он в церкви, и с ним отряд людей, это верно,— говорю я; тогда мастер успокаивается и дает мне вина.

— Капабуона дрянь,— говорит он: — решено, выдаю тебя замуж за этого дурня. Он богат, надоедлив и туп, ты стоишь его, Наннетта Румпельфельд. Я подбил его на защиту монаха, а теперь Капабуона, дурень, вербует меня самого и слюноточит и впадает в забвение, цитируя фра Джироламо. Но Джироламо нам не спасти. В нем нет ясности, поэтому гибель его неизбежна. Я люблю его, но говоря между нами, мне больше нравится папа, который рождает и растит детей своих и кормит крысиным ядом прелатов — и продает на вес святого духа. В этом есть огромная ясность. А ты ведь тоже, маленькая вихлявая дрянь, высчитываешь по четкам грехи и добродетели. Уж лучше открой аптекарскую лавочку и развешивай яды. Ты, четвертинка, пол-грошика, тебя и нищему не подашь за ради Христа. Кто стучит?

— Я не войду,— сказал торопливый и звонкий голос,— мастер, слушайте весть, отважный Капа-

буона, Джиованни, извещает Флоренцию: проповедь фра Джироламо принесла великую жатву. Премия назначена за голову Медичи разбойника— 2000 флоринов; 1000 человек пехоты и 200 конных двинуты на Кортону. Капабуона, отважный защитник Саванароллы отбил нападение в храме. Фра Джироламо спасен, здравствует и побеждает. Привет.

Шаги удалились.

— Привет хвастунам и святым,— сказал мастер.

О господине Пьетро заговорили во Флоренции; он приезжал, стоя в седле, по улицам и разбрасывал писание о заговоре Саванароллы против христианского мира; приняв образ фра Джироламо, совершал поступки кощунственные, распутные и колдовские; плясал на канате при заходе солнца, надев рясу и маску монаха, и, качаясь на башенной высоте, скидывал рясу, и в богатом одеянии, сунув руки за пояс, огромными взмахами взлетал вправо и влево, локти его пересекали солнечный диск, он вскидывал руками, и черные лучи мчались от его рук, и люди снизу смотрели на него со страхом и никто не смеялся.

Тогда я была охвачена к нему необычайной страстью, какую с трудом вспоминаю теперь, ибо наслаждалась жизнью неоднократно и от наслаждений остыла.

В дурных снах я видела Пьетро, и порою фра Джироламо. Сны вознаграждали меня за чрезвычайное целомудрие моей жизни; утром я шла в сарай моей соседки, женщины счастливой в браке, и мылась водой из ее ведра. Лицо соседки было бурным от прошедшей великолепной ночи.

— Вы опять целовали руки друг другу вечером? — спрашивала я.

— Как всегда, — отвечала она, и со страхом и радостью рассказывал мне о том, как, обнимая мужа, тоскует о нем, так буйно и горько, как если бы он был в далекой стране и она одна в своей постели, и не может обнять его таким объятием, чтобы увериться, что он с нею. И сидя с ним за одним столом, смотрит на него и смеется и готова плакать, оттого, что она скучает о нем, когда он молчит, и, слушая его речь, недостаточно насыщается ею.

И я уходила от нее, вымывшись водой счастливого дома. Я сильно дышала, в эти часы я хотела иметь многих и разных мужей, и даже тех любовников, которых во Флоренции можно было получить по трое, по четверо, пройдя квартал, но себе самой и тетушке я обещала накрепко хорошо выбрать и первого и второго и третьего мужа.

В этот день мастер был свиреп на редкость и раздавал подзатыльники своим краскотёрам, бра-

нил всех святых и плюнул мне навстречу, когда я пришла. Я села под стол, далеко, чтоб он не мог достать меня сапогом, но он палкой принялся выгонять меня из-под стола и бранился грязными словами. Его вызвали под навес двое знатных господ, и пока он отвешивал им поклоны, старший краскотер залез ко мне под стол и, заигрывая со мной, рассказал, что Саванаролла нынче утром вышел на пристройку над входной дверью церкви и призвал молнию на себя и на причастие, если прав папа и враги Джироламо, и если он, Джироламо — еретик.

Молнии не было, но мастер, услышав об этой проделке своего героя, гремел как гром, понося святых, деву Марию и прочих неистовых шарлатанов и все фокусы их.

Было ледяное ветренное утро, когда я выбежала из дома на набережную, где, как говорили, прибывший из Рима проповедник призывал все бедствия на головы флорентинцев, требуя изгнания Саванароллы.

Действительно, окруженный аристократами и священством, римский прелат с посиневшим лицом, стоя у спуска к реке, говорил неудержимо. При виде каждого нового слушателя, он быстро произносил, помахнув крестом: «Любезнейший сын! спасение тебе и апостольское благословение» — и продолжал:

— Джироламо, сын пса! — он на самого господу пялит глаза с предубеждением и на небеса взирает со скукой. Любезнейший сын, спасение тебе! Ему бы только ворваться в это стойло, называемое кафедрой, чтобы у грязных ног его бараньим воем выла Флоренция, слушая богохуления от жалкого монаха и поношение власти от ничтожества, любезнейший сын, благословение тебе.

Он задохнулся, сплюнул пену и продолжал:

— Он правитель! он вождь! он власть законодательная! просветительная! военная! полицейская! Он держит порядок, составляет совет, произносит и отменяет приговоры, грозит королям, ниспровергает папу!

Тут проповедник завопил и застучал крестом о камень так, что посыпались искры, а люди, отойдя, вновь сомкнулись в любопытстве, ожидая припадка падучей.

— Любезнейший сын, благословение, — прошептал проповедник и продолжал:

— Жид! Злодей, покрывший деньги! О папа! О кардиналы! Подлый пьяница попирает авторитет церкви. А что еще скажет он? Он скажет такое, что солнце почернеет от его речей. А кто виной? Кардиналы, знать, и их равнодушие. Вот вам, господу кардиналы, ибо нет слов! — и он показал им кукиш и зашатался, его облили ведром воды, он захлебнулся, но вода вылилась из его ноздрей, и он продолжал говорить.

После захода солнца он все еще говорил; все его суставы тряслись, он плясал от озноба. Проходящий грузчик отдал ему свой мешок, и проповедник влез в него, чтобы согреться и, придерживая край мешка у себя подмышками, продолжал говорить и дрожать, произнося: «Любезнейший сын, апостольское тебе — отсохни моя печень и застынь мой желудок, если св. троица не существует — говорил он, облизывая почернелый рот, — ныне реку вам: да сгниет мгновенно утроба моя, подобно падали трехнедельной, если только его блаженство святейший папа не непогрешим. Вот доказательства, я привожу их вам, и вы видите ясно!».

Все удивлялись непрерывности этого словоистечения, уходили, присылали других и сами возвращались, пожимая плечами. Утром он продолжал говорить; мешок был плотно завязан вокруг его шеи. С 2-х часов ночи он произносил анафему монаху и по словам свидетелей ни разу не повторился, подбирая брань и проклятия. Он истощил силу четырех наречий: испанского, итальянского, латинского и провансальского.

К 10 часам утра он был мертв; три кладбища и 14 могильщиков отказались его хоронить. Тогда приехал господин Пьетро, положил труп к себе на седло и отвез его в свой превосходный дом и, говорят, похоронил его с почестью на лужайке

своего сада под веселую музыку свистящих инструментов.

После плотной еды я раскрывала свои мысли духовнику мой тетки; он дремал, томимый отрывкой, зевотой, мысленно считал своих кур и не слушал; «Грех, грех, дитя мое, грех», частил он баском и дремотным фальцетом припевал: «рябая, пегая, пестрая, рыжая, бурая, белая, серая — семь!»

Я испрашивала его совета; моим желанием было от чистоты сердца наставить грешника на путь добра.

— Семь, семь, семь, — говорил каплан, засыпая, — черных и желтых пять, — пять, пять, пять и петух, ровно тринадцать — и он захрапел.

— Падре, — сказала я громко, и он отвечал: «грех, дитя мое, грех, ровно тринадцать».

Я налила сладкого вина, вправила в уста священника соломинку, приставила к соломинке чашку с вином, каплан засосал и проснулся.

— Кого наставить на путь? — спросил он.

— Великого грешника, отец. Зачтется ли мне это на небесах?

— Зачтется, зачтется, — сказал он, выплюнув соломинку и подставляя чашку ко рту. — Святые счет ведут аккуратно, не обронят ни грешинки, ни доб-

ротинки, до крошки подберут. Что за вино! — он посверкал глазами на бутылку и спросил: «кого наставить?»

— Господина Пьетро, кондотьера, — сказала я, с негой и ужасом произнося это имя.

Священник отставил чашку, положил руки себе под живот, посмотрел на меня глазастым детским лицом, потом закудахтал свирепо:

— Что такое! Что такое! Что такое! ах, ах, ах, ах, ах!

— Благословите, — сказала я с мольбой, и он остолбенел снова.

— Да он тебя сожрет, ты не пикнешь! — вскричал он.

— Пикну, отец, — сказала я, — пикну.

— Не поспеешь, дитя мое, не поспеешь, никак не поспеешь. И даже если его в клетку запрячут, то и к клетке не подходи вплотную.

И он выпил снова, игривая буйность овладела им и он стал хохотать и кричать.

— А! Святой змееныш, куси, куси его! Ты окажешь услугу нашему городу и св. брату Саванаролле!

Когда он заснул совершенно, припав щекой на переплет священной книги, украшенной распятием, я пробралась к мастеру и стала просить его снабдить меня каким-либо поручением к господину Пьетро.

— Зачем тебе поручение, предложи ему свою невинность, — сказал мастер, отяжелевший от жары, — а пока он будет с тобой расправляться, произнеси ему проповедь о добре, он это оценит. Ох, скоро дождевые черви начнут пророчествовать во Флоренции.

Я повернулась и пошла к двери, зная, что мастер не выносит вида моей обиженной спины, и он закричал мне вдогонку:

— Эй ты, огрызок! — Я стала у двери к нему спиной и ждала. — Вот письмо к господину Пьетро, отнеси, — сказал он.

В пятнадцать лет, имея рост девятилетнего ребенка, я усвоила себе степенную походку взрослой женщины: я равномерно семенила ногами, слегка выпячивая маленький живот, изогнув талию назад, склоняя голову, и спереди у пояса сложивши руки.

В таком виде, благочестивом и жеманном, я вошла в дом Пьетро, окруженный великолепным садом. Был жаркий час после полудня, во внутреннем дворе сидел писец, вылизывая остатки вина из стакана и, потея, скрипел пером. Не придав приходу моему должного значения, он указал мне дорогу.

Я очутилась в высокой и тесной комнате; у двери, приоткрытой в соседний покой, лежала подушка,

я стала на нее коленками и заглянула в дверь. Сердце билось во всех точках моего тела и глаза были полны видений; наконец, среди них я различала господина Пьетро. Из-под лба его выходил огромный угол носа и другим углом, подобным лезвию трехгранного меча, книзу торчал подбородок, голубые огромные глаза казались женскими, неугомонными в бесстыдстве, и рот был тонок и мал.

Пьетро молился.

Две больших белых руки соединились над столом, обвитые четками; в глубокой сосредоточенности он перебирал их пальцами, пальцы казались застывшими, лицо — неиз'яснимо суровым.

Я замерла смиренно, узрев Пьетро, преображенного в молитвенном созерцании.

Он вздохнул в невинности уединения и медленно перекрестился. Я была близорука в ранней юности, но вид его правой руки, возлагаемой на левое плечо, показался мне отвратительным: рука была огромна и мертвенно бела, как бы скованная параличом.

Попытавшись встать, я наступила на подол платья, споткнулась на пороге, дверь скрипнула. Обе руки Пьетро исчезли под столом и две других его руки, загорелые и небольшие, вышли из-за спины, в голубых рукавах и легли локтями на стол; все что он делал до этой минуты — молитва по четкам

и крестное знамение он производил стопами и пальцами своих обнаженных ног, сидя в ужасной позе, скрываемой столом, и крепко прижав руки к спине под плащом.

Увидев меня, он сузил глаза и подозвал меня слабым свистом. Я подошла, повесив руки вдоль юбок с лицом скорбным до-нельзя.

Оттопыренным большим пальцем ноги он защемил мое платье у пояса и, нагнувшись ко мне, рассмотрел мое лицо.

— Что это за благочестивое насекомое? — спросил он.

Дрожь за свою невинность, я находчиво пощекотала его пятку, и он откинулся, смеясь, а я очень ловко засунула письмо мастера. Бокаротти между большим и вторым пальцем ноги господина Пьетро. Он прочел письмо, продолжая смеяться и строил мне одобрительные гримасы.

— Завтра буду, — сказал он, и опять засмеялся, потому что я со всех ног кинулась бежать, как только услышала ответ господина Пьетро.

Мастер заказал великолепный пир у нас в кухне, находя, что лучшего помещения невозможно желать. Кроме синьора Пьетро он позвал Джиованни Капабуона и монаха Мафруччи, духовидца, которого усадили за отдельным столом. Я должна сказать о Капабуоне, отважном защитнике Савана-

роллы, что был он человеком, полным кислоты и сладости, взвизгивал, щелкая пальцами в спорах за и против платоников, за и против иконоборцев, за и против непорочного зачатия; чтил, как святыню, непристойнейшие из набросков Бокаротта, присутствовал при всех проповедях, анафемах, благословениях, заговорах, отдаваясь сердцем всем противоречиям и за каждое из них поднимал меч свой. В раю он перессорил бы всех святых поочередным преклонением перед всеми истинами, которыми он порознь любовался. Был он красноречив и когда не спорил и не дрался, до смерти любил пустословить на темы о сладости колен пречистой девы, о гармонии зада мученицы Евсевии и о блаженном истечении словес, исторгаемых духом святым из уст апостольских.

Это был чистый, счастливый и безнравственный человек, не причинивший зла на земле ни голубю, ни скорпиону. Сабельные удары, расточаемые врагам всех истин, и задорные вызовы — в счет не идут, ибо это есть область возвышенного. С женщинами был он слаб духом и телом. Впоследствии он стал одним из моих возлюбленных и внушал мне более жалости, нежели раздражения. Мастер позвал его с хитрым умыслом вызвать спор между ним и Пьетро и таким образом что-нибудь узнать о намерениях кондотьера относительно Саванароллы. Господин Пьетро явился в сопровожде-

нии трех дам и сказал: «Вот три мадонны, изображение которых съедено сыростью в капелле Сант Аньоло» — это противоречит здравому смыслу, между тем это было так. Все три дамы были в явном подчинении господину. Пьетро и сели рядом на скамью. Я разглядела их из своего убежища и двух из них узнала, о третьей мне рассказали впоследствии.

Одна была могучим едоком, веселье и свирепость ее были спокойны, она говорила: «Нет мужчины, который мог бы поспорить со мной в чревоугодии», но была пристойна, несмотря на прожорливость, и еду запивала в меру.

Другая была прозрачная ведьма, не пила, не спала и не ела и никогда не умывала ни тела, ни лица. По рассказам ее оттирали иногда сухими отрубями — но однажды во время дождя она подняла свою юбку на голову и я случайно увидела ее колени, они были темны и пестры от старой пыли, а под коленкой светилась голубая ямка белизны.

Третья сидела с лицом застывшей в бешенстве фурии, но была еще очень красива. Ее ревности приписывали смерть двух женщин, но после девятнадцатого любовника она поняла суету ревнования и стала служить Пьетро покорно во всех его преступлениях и шарлатанствах.

Я скрывалась на кровати у Катэ и видела все.

Блюд было подано 22, больших и малых. Каждое из них мастер пробовал сам и не все допускал к столу; Пьетро нежничал с ним, разбирал его бороду на-двое, отвечивал поклоны Катэ, садился на колени к женщинам. Он изумил всех, бросая кости в воздух: кости исчезали и появлялись под чепцом Катэ или во рту мастера или между грудями одной из дам. Протыкал себе руку иглой, и кровь не текла и не было следа укола. Жег свою ладонь на свече, и ладонь даже не согревалась. Сверх этого он говорил безостановочно. Капабуона хмурился, щелкая пальцами, и не пил. Мастер делал маленькие рисунки, они ходили по рукам и заставляли все взоры блистать и гаснуть. Фра Мафруччи из своего угла стрелял глазами в бесовское сборище. Наконец Капабуона, палладин Саванароллы спрашивает дрогнувшим голосом: «Верно ли то, что грязный проповедник, умерший от неумеренного словоизвержения, похоронен руками синьора Пьетро?»

— Да, — сказал Пьетро, — это мой ученик и последователь.

— Значит ли это, что синьор Пьетро враг святого фра Джироламо? — сказал Капабуона; Мафруччи привстал в своем углу, а три мадонны, опустив глаза, переглянулись.

— Я люблю его, как мать и отец, — сказал Пьетро, — я тот, кто призван отвлечь его от края без-

дны, куда влечет его безумная гордыня. Для этого я во Флоренции и не пренебрегу ничем в целях моих.

— И также в целях папы Александра, который платит за кровь святого! — сказал Капабуона и захлебнулся от страха и дерзания и начал дрожать.

Пьетро скинул башмаки, взял в ноги пистолет и сказал: «Убью паука среди паутины в углу потолка во славу вашу, госпожа Катэ» и пальцами ног, прицелясь быстро, спустил курок, и пуля пробила середину паутиной звезды, унеся паука. Пьетро обулся и продолжал говорить при смятении женщин и воплях монаха; лишь мастер глядел неподвижно на чародея и замороженный глядел Капабуона и зубы его стучали.

— Зло есть личина добра, — сказал Пьетро спокойно, — оно творит, а добро разрушает, когда не прикрыто личиной. О добродетель! — взывает фра Джироламо. Но он требует добра, как требуют казни, и сам умирает на наших глазах, потея добродетелью. Он призывает добродетель, как бык неутоленный, ибо непосильно ему целомудрие и воеет он о помощи, пожираемый адскими страстями.

— Лжец бесстыдный — сказал Капабуона и встал; мадонны скользнули со своей скамьи и в страхе сели на пол и натянули себе на голову скатерть, монах залез в бочку, а мастер отодвинул подальше

свой табурет, чтобы лучше видеть происходящее. Молчание.

И Капабуона, отважный, щелкнул пальцами, поднял пляшущую руку и побурев с середины лица и зеленея по краям, произнес латинское изречение, клеймящее подобно анафеме.

— Ненависть и гнев, — сказал Пьетро голосом женственным и тихим: — монах, пощади винную гущу, ибо ты можешь разбавить ее от великого страха. Порочные сестры мои, не совлекайте яств со стола гостеприимства, ибо не все еще с'едено. Нет во мне ненависти к жизни и поэтому я лжец. Я не требую от вас, чтобы вы сердце и тело свое подвергали пыткам, угодным желчному гневу монахов — и поэтому я лжец. Неправда ли, друг мой, Капабуона?

И Капабуона, говорливый, доперхнулся, в последний раз щелкнул пальцами и сел.

И Пьетро продолжал:

— И так же я говорю: не будьте милосердны, ибо все равно милосердия надолго нехватит, и само оно перейдет в озлобление и тягость; упорство в милосердии приводит к разорению души, и тот кто был к тебе милосерд чрезмерно, не вынесет этого и станет врагом твоим. Радуйтесь и рассчитывайте все в жизни так, чтобы радоваться долго и много, но не чрезмерно. Ныне я привлекаю к себе весь город и учу людей шутовой мудрости. Я хожу по

канату на набережной и люди улыбаются мне: «его носят ангелы» — говорят одни — и они недалеко от истины. «Его отвергает земля» — говорят другие, ибо трепещут за славу брата Джироламо; я же говорю: «Да будет прославлен великий брат Джироламо, презрев несчастливый гнев свой, и да обретет радость вместе с нами!».

Капабуона слушал, моргал, и монах, выйдя из бочки, перестал выжимать за порогом подол рясы и слушал, дамы своевременно всхлипывали, и мастер рисовал с увлечением. Катэ села на свою кровать, где я скрывалась за занавесью все время пиршества, и обе мы слушали, и все молчали, охваченные очарованием.

Пьетро встал, запрокинул голову мастера, поцеловал его в губы и вышел. За ним выползли гуськом три мадонны, и все четверо исчезли за порогом.

Пьетро произнес несколько речей на площадях, все они касались относительного добра и обнадеживали грешников. Так говорил он, подобно своднику, перекупщику и меняле, и многие считали его учение выше христианского по доброте и ясности. Капабуона стал восторженным почитателем Пьетро и ходил в келью Саванароллы оспаривать действия и речи монаха и вел с ним диалектические препира-

тельства. Мафруччи, монах, был раззадорен до крайности и вскоре обнаружил многое, скрываемое им доселе из чувства покорности.

Таким образом Пьетро отвлек от себя глаза врагов и сделал их орудиями в гнусном деле своем против Саванароллы.

Последней задачей его было — вызвать фра Джироламо на испытание огнем и добыть от него доказательства его вин и ересей, дабы истребить его рукой правосудия неправосудного.

С тех пор, возвращаясь в дом, я ходила осторожно, всюду чуя присутствие Пьетро. Однажды слышу за дверью голос Мафруччи, духовидца, неузнаваемо громкий. Речь шла о фра Джироламо.

— Он преследует меня, я его боюсь. Фома тресвятой! Сил нет! — рычал грязный монах.

— У меня видения, а у него нет, — он следит за мной, чтобы посмотреть, как посещают меня все страшные святые; Фома, Евсевия, Констанция и один раз сама Мария. Он пытается меня, не принимал ли я особой пищи, чтобы иметь видения.

— У него есть видения, не твори хулы на святого. Сам король Карл верит его пророчеству — сказала Катэ; тесто, чмокая, плясало в ее руках.

Монах вздыхал, хрипя утробой и разгораясь, как ржавый чугун в кухне:

— Лучше было бы, если бы он сам в них верил, ярмарочная кукла! — засипел он. — И дьявол мо-

жет быть свят, ежели свят Джироламо. Бог для него помеха, а монашеский сан — карнавальная гряпка.

Катэ вынула руки из теста, — тесто висело на ее руках, удлинняя пальцы.

— Вот что фра Мафруччи, — сказала она — если бог ему помеха, так это не делает чести богу, и великая честь монашеской рясе, что ею не брезгует брат Джироламо; еще раз раскрой свою пасть, ругатель, чтоб я могла залепить ее тестом.

Монах молчал, прижав руками желудок, глаза его были жалобно раскрыты и расширены. Катэ оплевалась через левое плечо и занялась завертываньем теста, тесто липло и отставало, громко целуя ее руки.

Тут я кинулась на постель Катэ за занавеску, так как в это мгновение вошел Пьетро в новом великолепном платье.

— Где мастер? Что с монахом? — спросил он.

— Видения, — проворчала Катэ и еще раз оплевалась громко. Пьетро прикрыл свой нос рукою, потирая переносицу пальцем. Не видя его глаз, я видела движения злой мысли в его лице.

— Мастера! — произнес он свистом губ, не сводя глаз с шафранного лица Мафруччи.

И я метнулась в дверь, через двор, постучала в окно четырежды и еще трижды, что означало: «Пьетро» — и мастер вышел и двинулся к дому.

Монах все еще сидел с руками, прижатыми спереди у пояса, и с остановившимся взглядом.

— Сделайте изображение этого святого,— тихо сказал Пьетро, кивнув на духовидца. Мастер взял уголь с очага и одной извилистой чертой на белой стене возле двери очертил контур монаха, начавши кружками колен, соединенных складкой одежды; затем появились угол торчащего локтя, площадка сухого плеча, шар головы, удвоенный ореолом; зияние глаз и ноздрей, щель раскрытого рта, впадина челюсти под скулою, ухо, руки до пальцев, и мастер кончил рисунок росчерком грубых сандалий, краем одежды над ними, и уголь распался. Мафруччи-второй сидел на белой стене, грезил блаженно и грозно, внушая трепет и жажду коленопреклонений.

Катэ подала скамью, оба сели, мастер и Пьетро, не сказавши ни слова, и переглянулись; Пьетро пил поданное вино, а мастер вытирал об свои волосы руку, испачканную углем, но оба не сводили глаз с монаха, покамест, икнувши, тот не очнулся.

— Мафруччи, вы святой; вы святой, брат Мафруччи, — сказали оба злодея почти одновременно и продолжали на него смотреть.

Мафруччи поморгал и оттопырил нижнюю губу в недоумении.

— Пророчествуйте, — сказал Пьетро, — вы святой, — и мастер повторил:

— Вы святой, брат Мафруччи, пророчествуйте.

Монах загнул пальцем левое ухо в сторону говорящих, как бы желая понять смысл речи. Катэ наблюдала, сунув руки под фартук.

— Не пытайтесь отрицать, — сказал Пьетро, — ибо вы пророк и ясновидец, — и мастер повторил:

— Не пытайтесь отрицать, Мафруччи!

— Взгляните на свое изображение, — сказал Пьетро. И, увидев себя в ореоле на белой стене, монах ужаснулся. Неизвестно, счел ли он все это чудом, но Мафруччи скорчился на табурете и, прижавши к щекам ладони, то глядел на стену, то на своих истязателей. И вот оба они принялись уговаривать монаха рассказать виденное им в его грезах. Великий мастер пощекотал его под ребрами. Пьетро отдал ему свое вино.

Наконец, монах уселся спиной к своему изображению и начал рассказ. Пьетро расположился записывать. Спустя небольшое время, он остановил косноязычный бред Мафруччи и прочел составленное повествование:

«И я увидел гладь озер, polegших на площадях Флоренции, и вода в них была плоской и черной. И как бы поросль трав торчала среди наводнения, и я увидел, что были то не травы, но бороды святых, затопленных водным бедствием; как бы сорные кучи высились у размытых стен и было в них битое стекло лампад, церковная утварь, покры-

тая гноем тины, и папская тиара зияла выбитыми зубьями.

«И я услышал свист и рокот и оглянулся, ища источника гибели города нашего и узрел фра Джироламо Саванароллу, настоятеля монастыря Сан Марко, стоящим посреди бассейна на возвышении, подобном кафедре, и изо рта, ушей и отовсюду изливающего потоки черных вод, подобные ревающим фонтанам.

«И это видя, я прозрел и ныне утверждаю, что все это истина».

— А! Я это видел! — сказал Мафруччи и разинул рот.

— Да, — сказал Пьетро, и Мафруччи закрыл рот, покосился через плечо на свое изображение и, помолчав, молвил:

— Я пророк, — и перекрестился. Тогда мастер дал ему лепешек с запеченными в них семенами пряных трав. Лепешки были горячие, так как молчаливая Катэ продолжала их печь, не придавая всему происходящему никакого значения.

Некоторое время Мафруччи охотно приходил рассказывать свои видения благочестивым господам и Пьетро записывал их.

В дни гонений на праведного брата Джироламо эти пророчества были прибиты на углах улиц с изо-

бражением духовидца Мафруччи и тонкой разрисовкой заглавных букв.

Зачем мастер потакал низостям Пьетро? Об этом я узнала впоследствии.

Пьетро постоянно бывал у нас в доме и, как мне казалось, искал меня, я же скрывалась. Но более всего в те дни Пьетро кружил возле фра Мафруччи, внушая монаху безбожную мысль о том, что он призван возвестить истину. Мафруччи изнемогал; миссия была ему не под силу. Он приходил к Катэ в ранние часы, избегая встречи с благородными господами. Он садился на низкий табурет и, корчась, шептал ей свои признания, и ворочал глаза в сторону обеих дверей попеременно.

— Старая дама, — говорил он, — я человек, Мафруччи и раньше не знал, что это отлично — быть человеком Мафруччи. О!

— Вы пророк и святой, сколько я слышала, — ворчала в ответ дорогая Катэ.

И он еще громче стонал: О! — и шевелил в ужасе мизинцами рук, прижатых к вискам.

— Я утверждаю, — говорил он, отдохнув от стонов. — Я утверждаю, что всякая святость — при творство; я постиг это на своей собственной шкуре, моя дорогая старуха! Быть монахом — пожалуйста! Я скудно ем — пожалуйста! Но я люблю хороший хлеб. Рубить дрова — к вашим услугам: я люблю

громко дышать, и рубка заменяет мне драку. Но знать, что ты свят! Я хочу видеть ваших господ, чтобы от этого отречься! — И он опять озирался на двери.

— Святость у меня не получается, — продолжал он еще тише: — она меня стесняет, когда я ем, я с ней мирюсь, пока я перевариваю пищу, но она приводит меня в отчаянье с той минуты, как пища переварена и природа меня призывает. А фра Джироламо! Я начал его ненавидеть, мадонна! А господин Пьетро! Я боюсь его хуже смерти, но он тысячу раз прав, хотя я и знаю наверное, что от него я приму мой мученический венец, который мне совершенно не нужен.

Под низкими аркадами вокруг площади гудел ремесленный народ; в глубине лавки на столе сидели трое портных, повернувшись лицами к корзине с мотками ниток. В пальцах ткали шелковые полотнища; ювелир чеканил, звеня бронзовым ларцом; отливщик шрифта распространял металлический чад.

Двигалась процессия переселенцев: из длинной телеги с плетеными стенками виднелись головы женщин, погруженных в тряску и молчание. Других женщин везли верховые позади седла, детей несли на головах в подобии лодок.

В овощном ряду, очаровательно смердящем спе-

лостью и гнилью плодов, я скрывалась между двух рассыпанных громад зелени,

Сюда привел Пьетро монаха Мафруччи и при-слонил его в простенке аркады; положив над головой его свою руку с выгнутыми наружу пальцами, он тихо заговорил с продавщицей. Скорбь выражали его черты, а глаза Мафруччи были крепко закрыты. Пьетро, сын сатаны, уговорил беднягу принять мученичество. Мафруччи жаловался на недостаток святости в себе, готов был окончательно от святости отречься, и Пьетро взял на себя сделать из него бесспорного святого, убедить маловерного в его божественной миссии.

Он приволок его на площадь, где мелкие ремесленники продавали по сходной цене свой товар изготовляемый тут же на месте и куда окрестные крестьяне привозили на торг зерно и овощи.

Здесь гнездились приверженцы Саванароллы, простолюдины, здесь согревались и набухали корневища народовластия, возглашаемого с кафедры исступленным фра Джироламо. Сюда в горячую и зубастую пасть врага вовлек Пьетро свою жертву, но дал ему при этом клятвенное заверение в том, что хотя он, Мафруччи, и будет бит, но не до смерти. Бокаротта заранее разрисовал его тело багровыми пятнами, знаками самоистязания и из лица его сделал зловещую маску самоубийцы во имя благочестия.

Тихая речь знаменитого Пьетро и страшное лицо монаха с закрытыми накрепко веками и позеленевшее, привлекли внимание; образовалась толпа.

Гармоничным и медленным голосом, со взглядом, устремленным как бы в беспредельность, Пьетро повествовал о подвигах и видениях праведного Мафруччи.

— О, добрые люди, справедливые граждане, трудовая плоть нашего города! — говорил он с тихой печалью: — о, Флоренция! Услышь вещание бед, занесших над главой твоей яростный меч позора и гибели!

Вкратце он превознес благочестивые упражнения Мафруччи, легкими жестами обнажал на груди его власяницу, вериги, рубцы бичеваний на желтом плече и затем перешел к перечислению пророческих грез, озарявших сны и бдения монаха.

Тут Мафруччи вновь услышал многое, чего ему и не снилось. По словам Пьетро он видел следующее: камни монастырского двора Сан Марко, вспухнув, образовали гору; гора росла, стягивая весь покров строений Флоренции. Дворец и собор накренились. Гора набухла кровавой чернотой и извергнула поток жидких дьяволов с лицами рыб и гадов. Тела великих усопших были разбросаны в семи направлениях. Христос распятый зашевелился на всех крестах, и раны его кровоточили и — зеленью подернулись ребра.

— При этом монах утверждает,—прибавил Пьетро весьма отдельно и отстранился от брата Мафруччи,—монах утверждает и готов подтвердить слова свои под угрозой пытки, что видел он, как над этой горою гибели, на самом сгибе потока, опираясь на клубы кипящих дьяволов и венчаный короной из кровавых червей — стоял, вопя победно, фра Джироламо Саванаролла.

Тут Пьетро коварный отшатнулся в сторону и протер свой палец, указуя толпе жалкое лицо Мафруччи, как бы призывавшее на себя кару.

Мафруччи моргнул и зажмурился. Пьетро в позе обличителя скрестил руки.

И продавец битой птицы взял несвежий труп каплуна и, протолкавшись к брату Мафруччи, взмахнул, чтобы ударить каплуном в лицо монаха, но Пьетро, ловко вынув из руки ревнителя птицу, торжественно возложил ее на голову несчастного ясновидца. Этим жестом он отвратил гнев толпы, превратив его в глумление. Монаху совали в рот и уши сорную зелень, портной лязгал ножницами и выстригал кружки из его рясы, причем отстриг ему много волос на теле и расцарапал кожу. Пьетро позвал детей, они избивали монаха и этим взрослых отвлек от побоев.

— Отрекись от слов своих, клеветник! — закричала женщина из толпы, и дети закричали: «Отрекись! отрекись!» и кусали руки Мафруччи.

Тут снова выступил Пьетро и поднял руку над толпой и другой рукой с мечем заслонил монаха.

— Граждане,— сказал он в тишине; казалось, этот человек владел тишиной,— Флоренция! Ты видела кротость человека, казнимого тобою; вся вина смиренного только в том, что он посещаем видениями; я привел его к тебе, чтобы услышать голос справедливости.

Люди смешались; поступки Пьетро были неожиданны и волновали своей загадочной мудростью. Передохнувши, Мафруччи открыл глаза и быстро и осторожно сжевал луковую и редисовую зелень, напиханную ему в рот, и проглотил ее. Он был голоден и овощ его подкрепил.

— Кто посылает видения монаху, столь грозные и полные соблазнов? Ответ, справедливая Флоренция,— сказал Пьетро.

— Сам дьявол,— сказали портные и звякнули ножницами, и базарные мастера тотчас подтвердили это, так как были скоры на слово; гончар мотнул головой, овощные торговки завизжали и дети, стуча молотками в покинутой кузне, поддерживали их вопль.

— О Флоренция!— воззвал Пьетро и простер над толпою руки с вывернутыми наружу концами пальцев:— если так—здесь перед вами гибнет душа моя, отданная власти геенны. Пусть я погибну, ибо поверил снам, навеянными монаху са-

таной, ибо вижу в вещаниях Мафруччи гибель вашу и вижу отца вашей гибели стоящим на сгибе черного потока — имя ему Джироламо. Пусть я погибну в огне, ибо верю, что свыше ниспослано отцом чистых небес пророчество брата Мафруччи.

Голос Пьетро зазвенел золотым звоном:

— Испытание огнем! — воскликнул он. — Восхищен дух мой! Возьмите уголья из кузни. Наставьте меха, поддувалы! Пусть до костей обгорят стопы мои, ставшие на путь врага человека!

Он не дал людям очнуться, тотчас по его приказанию уличные дети выгребли уголь из двух очагов и рассыпали его перед ним. Сено тлело на камнях площади, прошипели капли пролитого на землю масла, в бледном дневном огне рассыпанных углей скрипели капустный лист и кожа фига.

— Еще углей, флорин за ведро, — сказал Пьетро; три женщины исчезли за порогами жилищ и вынесли пылающие ведра, дети тотчас приняли их, и уголь, звеня и багровея, посыпался поверх первого темнеющего слоя; Пьетро вложил монеты в ладони услужливых дам, и каждая из них проворно бормотала: «доброй удачи, господин». Говорливый народ приумолк, окруживши угольный костер; дюжина ребят охраняли огонь с поддувалами в руках. Мафруччи с'ел две моркови, торчавшие у него из-за ворота, стараясь не хрустеть зубами; сапожник

подал Пьетро табурет, обтерев его рукавом. Пьетро стал разуваться; вновь я увидела его гибкие бледные ступни и на большом пальце левой ноги золотое кольцо с изумрудом.

— Что это? — спрашивали проходящие.

— Испытание огнем, — отвечали отрывисто люди, пожирая глазами каждое движение Пьетро.

— Кольцо, кольцо! — охнула женщина, и бурный вздох был подхвачен.

— Что здесь? — повторяли прохожие, и дети им кидали, задыхаясь от важности: «Испытание огнем».

Толпа росла, повозки останавливались; подымались крики и стихали.

Пьетро перебросил через костер свою обувь и стал недвижимо; сосредоточенная улыбка сжала его рот, в лице проступило выражение одиночества, как у слепых или оглохших людей.

Медленно ступил он левой ногою в огонь, уголья раздались и хрустнули, плавно двинулась правая нога, врываясь доверчиво в горящие вороха. Промчался могучий вздох толпы, раскрытые рты с такой силой выдохнули его, что огонь в углях зарозовел, задрожал и покрылся синими язычками.

Так Пьетро прошел через костер; он стал на камень, и откинулся величаво и по знаку его был поднят на руки; и сев на скрещенных руках четверых граждан, он вытянул вперед свои гибкие

стопы и скрестил их, чтобы всем были видны бледные подошвы ног.

— Страхните золу,— сказал он и две женщины, всхлипывая, отстранили детей и кусками свежесытого тканного шелка отерли ступни его ног, и он засмеялся, потому что был щекотлив; одна из женщин, белокурая, как я, поцеловала чудесную ногу. Женщина постарше поднялась с колен и дрожащим голосом произнесла: «нет следов огня ни ожогов». И другая, встав, с побелевшим юным ртом повторила: «Ноги его не согрелись в огне, это чудо». Толпа снимала шапки. Вдруг старшая женщина растроганно засмеялась, подняв вверх покрасневший палец: «Кольцо на его ноге обожгло мне палец»,— сказала она, и люди двинулись, тесня друг друга, чтобы коснуться раскаленного кольца и прохладных ног господина Пьетро; среди них подошел и Мафруччи.

— Брат Мафруччи!— воскликнул великий шарлатан и, прыгнув, стал с ним рядом.— Праведный брат Мафруччи! Теперь прости этих добрых людей, оскорблявших и мучивших тебя, благослови проливших твою кровь во имя истины, так как прозрели глаза слепцов, так как от господина чистых небес ниспосланы видения твои!

И люди подходили смиренно, и грязный Мафруччи, терзаемый луковой изжогой, долго их благословлял, пока великий Пьетро, нечестивец, не увел

его торжественно, заметив, что монах начинает икать и ежится от желудочных колик.

С этого дня родилась в народе молва и созрело желание видеть фра Джироламо нетленным среди огня, подобно синьору Пьетро, кинувшему черную тень подозрения на великого несчастливца Саванароллу.

Однажды ночью меня разбудила Катэ.

— Поди, Наннетта, достучись к брату Джироламо, господин Пьетро при смерти и просит напутствия,— сказала она.

Я быстро собралась и вышла, крестясь, из дома. Пробежав двор и часть переулка, я прислонилась к стене, держась за сердце: слова старой Катэ разбили его скорлупу, и я чувствовала, как во мне от левого плеча до самого желудка бьется и мечется новое чудовищное сердце. Мысль о том, что я веду брата Джироламо в дом господина Пьетро, и Пьетро, враг, умирая, взглянет на нас, стоящих рядом — от этой мысли в каждой точке моего тела плясало и бешено билось новое маленькое чудовище: я думаю, в эти мгновения тело мое выросло на четверть пальца — так оно билось внутри.

Темная зелень ночного свода зияла среди площадей и свет фонарей коричневел на камнях. Я прошла мимо ограды садов господина Пьетро.

где от деревьев шел черный холод и звучали, качая воду, водяные часы.

Я ждала долго у ворот монастыря. Горбясь, вышел худой широкоплечий монах. Он шел впереди меня или шел рядом со мной, одинаково меня не замечая. Запах жареных орехов не вошел в его мысли, и огонь в раскрытом окне, и вид высокой постели за окном, ничто не вошло в его мысли. Мы поравнялись с большим распятием возле дома мастера цветных стекол; ограда креста была тесна и низка, она охраняла лишь подножие; над распятием из стены дома торчала чугунная рука, державшая фонарь, украшенный крючьями.

Брат Джироламо стал и обернулся, я подошла к нему, и он коснулся моего темени.

— Чего он хочет от меня? — сказал он тяжелым голосом, и я ответила: — ты все знаешь, падре.

Я заметила, как в рассеянии он трогал рукою крест распятия и водил пальцами по лицу Христа, потом он забормотал бурно и, бормоча, стал раскачивать крест и ударил кулаком по его перекладине.

— Падре! —дохнула я, видя, что фра Джироламо в забвении бьет кулаком по кресту распятия, и он резко повернул ко мне великолепную голову грифона с выпяченной гневно губой с могучей орбитой химеры, лицо наполовину черное от теней, сверкающее властью, внушающее ужас.

— Пусть возьмет, если сможет, то, чего он хочет от меня, и пусть попробует не взять того, что я ему дам,— пробормотал он, и мы пошли дальше. Он громко кашлянул и плюнул, и это меня удивило, так как он нес с собою в поясе святые дары, и я вспомнила, как говорили о том, что брат Джироламо неблагочестив.

В саду Пьетро ждал мальчик, он провел нас к центральному входу. Литая дверь отошла. Я ступила за порог вслед за братом Джироламо и оглянулась, нигде не видя Пьетро. Нам предстало между тем зрелище необычайное: пиршественный покой был превращен в святилище и посреди зала на возвышении восседал папа Александр VI в трехвенечной тиаре; он наклонился вперед и глядел на вошедшего. Саванаролла был бледен, толстая нижняя губа отошла от десен, глаза полузакрылись, налитые огнем лихорадки.

— Сын, подойди,— произнес владыка, и Саванаролла двинулся к нему, но, не дойдя, остановился столь резко, что полы его балахона запали между колен; он облизал губы и дышал тяжело.

— Я не правдив,— сказал папа, усмехнувшись,— но с тобою буду правдивым. Я звал тебя в Рим.

— Ты искал моей смерти,— сказал Джироламо быстро и глухо.

— Искал.

— Ты ищешь ее?

— Ищу,— сказал папа. Джироламо метнулся к выходной двери. Но дверь перед ним распахнулась свободно. Тогда он стал на пороге.

— Ты в безопасности, сын,— сказал Александр, засмеявшись, и оглянулся, подмигивая страже;— твой убийца здесь, но ты в безопасности. Хочешь знать твоего убийцу?

— Я знаю тебя,— пробормотал Джироламо.

— Нет,— сказал Александр:— взгляни— вот твой убийца, он еще не хочет твоей смерти, но скоро он захочет ее. Взгляни.

Он указал место у двери и Саванаролла шагнул в темный угол, вытянув шею; тут двое стражей подняли факелы, и Саванаролла вскрикнул: перед ним был зеркало.

— Сядь,— сказал святой отец,— ты болен. Мы оба грешники.

Он улыбался, старые щеки его висели, рот был красен и крив, и томны большие африканские глаза.

— Я жду смерти — сказал Саванаролла.

Александр подобрал рот и задвигал щеками.

— О смерти позднее,— сказал он.— Я хотел говорить с тобой и напоминаю тебе следующее. Люди устают, и это великий закон. Все те же клеветы, все те же угрозы, зывания утомляют народ. Сам господь бог утомляет в конце концов, хотя

он менее всего назойлив. Перед народом прав будет тот, кто менее упорствовал и меньше беспокоил. Греховного папу, блудодея, простят миролюбиво, а тебя, гремящего из года в год и терзающего слух и зрение, тебя убьют по твоей же вине и, честное слово, будут правы. Слушай далее, разрушитель: мир разрушит тот, кто взорвет истоки, ты осушаешь реку возле устья, несчастливый брат, ты работаешь безнадежно. Теперь ответь мне. Я слышал о том, что кости твои горят в тебе и поэтому ты жаждешь стоять перед народом и вопить о народной власти. И еще слышал о тебе, что ты ненавидишь Христа, завидуешь ему и хотел бы ему подражать, ибо ты шарлатан и считаешь часто, что делаешь лучше Христа. Верно ли это? Будь откровенен.

Саванаролла стоял и скрещенными руками впиался в рукава своей одежды. Он бормотал и дергал себя за рукава. В отчаяньи глаза его выступили из орбит и наконец он так рванул свой рукав, что трещина ветхого холста обнаружила сутулое плечо его. Он закричал безобразным криком и упал на ковер и рыдал и грыз свои руки. Наконец он сел на полу, утирая щеки, и стал говорить, всхлипывая и дрожа:

— Отец мой, взываю к тебе, недостойному и мнимому, ибо сильнее тебя и сильнее меня мое горе! Я человек. Взгляни на землю и на полчища,

ее населившие, которыми владеют разврат, тирания и несправедливость, огромные, как многоголовые горы,— и взгляни на меня, вышедшего с ними на единоборство. Что я? Кроха, червь однодневный. Почему же я так огромен внутри, что вся скорбь и тьма мира вселилась в меня. О, горе! Что побуждает меня вновь и вечно возвращаться к месту казни моей — кафедре проповедника, и вопить навстречу братской толпе. Ибо я вижу: вот уж по самые уста заливают их мерзость, и коснеют сердца в черствых и позорных привычках. Я вижу — горе мне! — вижу, и кости мои звенят во мне и голос мой бьет как колокол, разбивая меня изнутри, и я реву, как корова, у которой на глазах режут теленка ее! — и вспоминаю о себе лишь в минуту, когда из трясины выходят они и уже по плечи в грязи — и потом не помню себя, ибо слаб и кости мои омертвели от непосильного. Боже! Боже! Освободи людей от несвободы их! Отец святейший, я взываю, к нему, как и к тебе, недостойному, мнимому владыке, ибо не верю, не верю, не верю я! Но бог — мой мнимый единомышленник, и я должен иметь хотя бы имя его, дабы называть его в тоске.

Папа Александр замер, склонившись тиарой на свою ладонь, не раз его пальцы принимались стучать по металлу зубчатого венца, и тогда писец, скрытый за ширмой, легонько скрипел пером; во-

сковая свеча была прилеплена к браслету на левой руке писца, и черные волоски на его обезьяньем запястьи склеились, закапанные воском; черная рука, покрытая белыми каплями воска, казалась пораженной проказой.

— Готово? — спросил Александр, и, выйдя из-за ширмы, писец вручил ему бумагу на подставке с вделанной в подставку чернильницей. Папа положил на ручку своих кресел руку писца с приклеенной к браслету свечей и при свете свечи просмотрел показания.

— Подтверди подписью признания твои, Джироламо, — сказал он, — ибо трижды воззвал ты о неверии своем. — И, протянув перо, он кивнул Саванаролле.

Тот, не вставая с ковра, поднял туманный взгляд и глядел на свечу, обливающую воском руку папского раба.

— Подведите его, — сказал Александр, и вдруг Саванаролла засмеялся без улыбки:

— Кто говорит мне? — сказал он звонко. И, встав легко, с молодым очаровательным и легким буйством, он столь покойно взошел на помост папских кресел, что никто не двинулся ему вслед и никто не коснулся его.

Папское лицо глядело вверх, застывая.

— Карнавал! — произнес Саванаролла бурно, музыкально: — карнавал!

И охватив рогатую тиару, снял ее с черноволосой головы и нахлобучил ее на голову писца; затем краем рукава он вытер папское лицо кругообразно, и краски, красные, рыжие и черные, смешавшись, образовали радугу на искусно разрисованном лице господина Пьетро.

Я выбежала в сад вслед за Саванароллой и услышала его голос под деревьями:

— Змея укусила меня,— сказал он в темноте,— слышу змеиный укус.

В озере, всплыв, рыба щелкнула ртом. Мы вышли на улицу.

Саванаролла щел, подняв голову так высоко, что не видел дороги перед собой, и я бросался вперед, боясь, что он может разбить себе лицо о выступ стены или о столб коновязи.

— Дайте мне сделать для вас все, что в моих силах и сверх моих сил, брат! — сказала я, когда он стал на мосту и глядел поверх воды, но не в небо.

К утру густо зазеленела вода реки и по стенам прибрежных домов заскользили зеленые отражения волн. Брат Джироламо сел на камень. Он вынул из-за пояса твердый пакет с печатями.

— Возьми свое платье и зашей в него это письмо, оно для французского короля,— сказал он,— это платье пусть наденет молодая сирота, принадлежащая конюшему французского посла, они

отбудут через день поутру во Францию. Пусть платье будет на ней все время дороги и пусть только в доме кардинала де Сен Поль она снимет с себя это платье и получит взамен подарки и хорошую одежду. Нет средств сделать иначе. Убийца истины стоит за углом, и тридцать серебряников уплачены ему.

Саванаролла закрыл огромные веки и зевнул, кривя чудовищный, замученный каменный рот.

— Я устал и хочу смерти, но и смерть не должна быть без пользы для людей,— сказал он слабым голосом и, положив голову на ограду набережной, заснул, неслышно дыша.

В слабом свете над рекой он казался мертвецом, многократно воскресшим, утомленным смертью и воскрешениями. Он один нес зло мира на плечах, и никогда еще зло мира не имело такой чугунной силы, как в те дни. Проспав недолго, он повторил мне свое напутствие и отпустил меня, раньше, чем улицы наполнились утренним движением.

Пьетро пришел к нам в предобеденный час, когда во дворе мы мололи зерна мака, готовя мастеру масло для красок.

Пьетро сел на скамью позади меня таким образом, что, перекинув ноги через доску скамьи, зажал меня между колен и положил подбородок мне на темя. Я встала тотчас и вышла из ворот,

но, пройдя вдоль нашего дома, встретила Пьетро вновь, выходящего из-за угла мне навстречу; не глядя на меня, он коснулся рукой моей спины и прошел. Я стала, как скованная, а он прошел. Я пошла лечь в свою комнату, так как у меня кружилась голова, и тут он встал перед окном, окно было низко, так что я не видела его лица, и он делал мне знаки руками, сплетая из пальцев всевозможные фигуры, значение которых меня леденило.

Письмо все еще не было зашито в платье. Ночью по пути домой, вся в огне, с шумом бури в ушах, я не испытывала страха, но в комнате моей прислушивалась долго и не решилась при свете свечи зашить письмо в широкую подшивку подола. Утром рано пришла тетка и немедленно мы принялись тереть зерна мака. Потом появился Пьетро, преследуя меня, и вот он стоял у окна, и у меня не было способа скрыться, и если бы я вышла из дома, тотчас он пошел бы за мной. Я бросилась вон из комнаты и в темноте прихожей снова столкнулась с Пьетро. К счастью раздалась бешеная брань мастера, он звал меня, требуя масла, и я закричала: «Масло здесь, мастер!» раздирающим голосом, так как Пьетро не выпускал меня. «Я иду, грязный макаронщик, я иду», зарычал Бокаругта и рванул дверь в темную прихожую и прошел мимо нас, и Пьетро исчез снова.

Разум мой застилало, но помню, как, прикрепив кусок картона к моему столу, мастер углем начертил небольшое изображение Саванароллы, спавшего, положив голову на прибрежный камень, крошечную мою фигуру у его колен — затем острие угля обошло край лавки торговца чеканной посудой за углом прилавка — тут мастер приостановился, глянул на меня и одной изогнутой линией от пера на берете до вывернутых гибких колен изобразил господина Пьетро в позе гончей, повисшей в беге; — и тотчас резко пририсовал ему рога, копыта, спиральный хвост и дал ему в когтистые руки бревне за папской печатью и написал внизу:

«То, что дал тебе Джироламо, храни от нечистого».

Дав мне взглянуть на рисунок, мастер молниеносным движением угля зачертил его сверху до низу и скомкал бумагу.

Повторяю, в этот день разум мой застилало облако и, чувствуя это, я торопилась исполнить порученное мне прежде, чем впаду в то безвыходное оцепенение, которое я в себе предчувствовала.

— Мастер, отодвиньте шкаф от стены и станьте у двери, — сказала я: он отодвинул и, скрывшись позади шкафа так, что из окна меня не было видно, я отпоролла подшивку подола на своем платье, вложила туда письмо, обернутое в перга-

мент, и принялась зашивать рубец, руки были медленны и тяжелели все больше.

Пьетро стоял за дверью.

— Была возня здесь. Кто-то звал на помощь,— сказал его голос.

— Это мы возимся здесь,— ответил мастер,— но помощь ваша не нужна, господин, ни мне, ни этой девице. Закажите плотный обед в кабаке на углу, через час мы встретимся.

Пьетро отошел; работа моя была готова, я сняла платье, положила его в небольшой ящик и шопотом сказала мастеру, куда его надо снести.

— Ты должна знать, Наннетта Румпельфельд,— сказал Бокаротто,— ты должна знать, что это письмо касается собора и низложения папы, поэтому удержи Пьетро как знаешь, а меня он не подозреет.

Так я стояла в одной рубахе перед лицом великого Бокаротто, когда лицо Пьетро появилось в окне. Увидев его, мастер закричал победоносно и обхватил меня так, что моя рубаха поднялась до колен, затем он ударил ногой в окно и ушел, унося с собой ящик.

Оставшись одна, я тяжелыми руками сняла рубаху и села на подоконник и погрузилась в оцепенение, рука моя свисала за окно и касалась травы; окно было низко и земля близка. Ветер принес сильный запах горячего хлеба и погребного

холода, так как незадолго до этого тетка доставала вино, и в печи стояла полента. Я знала все, что будет, глубоко в теле лежала улыбка, не поднимаясь к устам. Когда вновь пришел Пьетро, я не шевельнулась; посмотрев на меня, он разулся, бросил обувь в мое окно и спустился в комнату.

Так дождалась я своего возлюбленного. По его длинной улыбке и поэтому, как он медлил возле меня, я поняла, что он мною доволен. Кроме того он считал, что, оставаясь со мной, он препятствует мне исполнить поручение Джироламо. Я же была в восхищении от того, что он в этом ошибся и от того еще, что почувствовала в себе неизведанную силу счастья и вдвойне благословляла жизнь. Я кричала как восторженная птица в этих объятиях, обещанных мне еще исповедником тетки, любителем кур, и это откровенное восхищение видимо забавляло господина Пьетро. Он не удостоил меня ни единым словом, кроме веселой брани, но улыбался, гримасничал и щурился в полное свое удовольствие.

В заключение, осмелев от великого торжества, обманувши столь выгодным для себя образом знаменитейшего хитреца христианских стран, я произнесла похвальное слово его многообразным достоинствам, блеснув изысканным построением речи, точностью цитат и неожиданными оборотами мысли.

Я сравнила его с Алкивиадом, Воозом и Валаамом, назвав себя его ослицей, Руфью и упомянув Сократа. Я говорила долго и витиевато, ровным и благозвучным голосом оценщика редких вещей:

— Как изумителен сеньор Пьетро,— говорила я,— как он изумителен, совершая нечто человеческое! Ни пытки, ни насилия, ни колдовства, ни даже малейшей ереси, о чем в пятнадцать лет и будучи нетронуты мы можем тем не менее судить. Сеньор Пьетро! вы были королем моих снов, венцом моих желаний, и я могу сказать, обращаясь ко всем невинным девушкам Италии: сестры! пусть каждая из вас ищет счастья во Флоренции, где быть может мой возлюбленный имеет подражателей, ибо даже слабое подобие его подвигов — совершенство.

Пьетро оттянул углы губ книзу и выпятил рот, делая вид, что ему смешно до тошноты.

— Имея Пьетро,— продолжала я,— вы имеете любовника всех возрастов, ибо он юн как новобранец и мудр сверх человеческих мер, любовника всех стран, ибо, любя, он бранится на всех наречиях средиземного побережья и мурлычит как леопард и смеется подобно ослу и шакалу. Вы видите в его глазах огонь убийства, но, о сестры, когда надо, он с терпеливым взором лани ждет вашего согласия, ибо жаждет видеть радость свою разделенной. О Пьетро! Я согласна три недели питаться живыми мухами и черным тестом из та-

раканов, чтобы дожидаться вновь подобного часа.

Он сделал гримасу хохота и смешливо застонал.

Красноречие мое не иссякло, и мастер имел достаточно времени отнести ящик. Я сияла восторгом, продолжая говорить, откинув голову, расправив плечи и положив себе на живот подушку. Я шевелила всеми пальцами на нбгах, испарина покрывала мое тело, и оба мы тяжело дышали, веселясь всем сердцем, покамест не проголодались до смерти.

— Сейчас принесу еды и вина,— сказала я и, прижав к животу подушку, кинулась в кладовую.

Когда я вернулась в свою комнату, все вещи в ней были перерыты и Пьетро исчез.

— О, мудрствующие дети! О, лжецы, кричащие об истине и спорящие с ней наедине! Рассчетливо торгующие сердцем, нетвердые в ценах на кровь и правду, о люди!

Так я пишу теперь, когда мой последний возлюбленный, мой дорогой муж прелат Фьори Беллецца просит меня составить тот или другой абзац его проповеди. Я не вовсе еще утратила флорентинский стиль, десять лет живя в Риме. Здесь не то. Во Флоренции предавались красноречию и проповедям священники, ученые, дети, беглые

каторжники, сыновья, лишённые наследства, поэты, бесприданницы и кажется самые камни. Здесь не то. Я сильно выросла и тело мое изменилось.

Должна заметить, что весьма многое кончается с концом девичества: жажда истины имеет богатый источник в теле девушки, но в теле женщины легко иссякает. Не завидую участи пророков.

Возвращаюсь к моему рассказу.

Итак, Пьетро понял, что его вовлекли в ловушку, надо было направить его на ложный след и я бежала.

Катэ горбилась над работой, когда я подошла к ней и сказала:

— Слушайте, дорогая Катэ, возможно, что я пропаду без вести.

Она кивнула.

— Два дня говорите тетушке, что я гощу у монахинь, на третий—скажите, что я уехала надолго, потому что нашла свое счастье.

Катэ кивнула.

— Через месяц или два я пришло к вам человека и вы отправите с ним письмо, пусть напишет его брат Мафруччи, обращаясь к благочестивой госпоже имя рек.

— Имя рек,— сказала Катэ.

— Если вас спросят обо мне, отвечайте: «она нашла свое счастье», и об остальном молчите так, как вы это умеете, дорогая.

Я поцеловала ее и она поцеловала меня и кивнула, поведя мне вслед умным черным глазом. И я пошла еще к мастеру и он одобрил мой план, так как Пьетро не узнал еще о судьбе писем.

И на прощание я попросила великого мастера сказать мне, как бы я могла увидеть остров прообразов. И он взял меня за руку и повел в чужой двор, куда выходило глухой стеной нежилое строение.

И, представьте себе, он показал мне на эту когда-то беленую и теперь позеленевшую стену, она была изрыта плесенью, подтеками и трещинами и в этих контурах и пятнах он видел мир прообразов, фигуры и лица нечеловеческого значения.

— И еще смотри на свернутое жгутами мокрое белье — и в нем увидишь многое, так же как иногда в сгустке туч, но едва ли все это тебе пригодится, Наннетта Румпельфельд, — сказал он и простился со мною нежно.

Не буду вдаваться в несущественное, передавая о том, как в моем странствии приютил меня сеньор Капабуона в своем поместье у моря, и о том как пробыла я с ним некоторое время в мирном сожительстве.

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

«Благочестивая госпожа Имя рек! Привет и благословение от недостойного монаха Мафруччи. Старая дама Катэ жива, а патрона ее еле жива от

ожирения. Госпожа! Образ нечистого снова появился в нашем городе. Под видом благородного господина Пьетро он временно принял монашеский сан. Временность эта очевидна, ибо мне известно, что господин этот имеет целью проникнуть в монастырские тайны, ища приверженцев Саванароллы. Во всех умах происходит путаница и растление. Но, увы, госпожа, так же верно и то, что брат Джироламо сын сатаны и поддельный пророк. Скоро он дойдет до того, что будет натираться зеленой мазью подобно колдунам, так велико его желание своими очами увидеть скрытые истины. Судите о глубине его неверия. Многое подобное говорят о нем в нашем городе.

Достоверно известно, что письмо, отправленное нечестивым Саванароллой к королю французов, касалось созыва церковных чинов с целью низвергнуть престол святейшего отца. За Катэ Медини монах св. Марка брат Мафруччи, ничтожный».

ПИСЬМО ВТОРОЕ

«Госпожа Имя рек! Происшествия поистине беспримерные и о которых именно я имел видения, а брат Джироламо их прозевал, несмотря на острую пищу и зеленую мазь.

Я стоял столбом и не помнил себя, но сеньор Пьетро, он же брат Бенедикт, выпытал у меня виденное мною следующее пророчество. Девица

везла зашитое в платье своею послание в чужие страны, дабы призвать их против христианских народов и к уничтожению церкви, послание врага Саванароллы. Но в пути поражена мечом, и козны расторгнуты.

Ходили мы с Бенедиктом по площадям и проричали об этом. И действительно. Привозят через день окровавленное платье девицы и выставляют у фонтана.

Ваша знакомая Медини заболела от горя, так как узнала платье и поняла, что убиенная была воспитанницей ее госпожи и жила всю жизнь в ее доме, будучи чрезвычайно дорога обеим женщинам. От госпожи не могли скрыть этого несчастья, ибо весь город говорит о подвиге убиенной Наннетты Румпельфельд и судят о нем различно. Но только известно, что друзья Саванароллы тайно погребли ее тело и выставили окровавленные одежды на показ возле большого фонтана, куда стекается народ.

Но всем уже надоел беспокойный и грязный нечестивец, народ утомлен тем, что его рвут из стороны в сторону, и был бы рад, чтобы кто-нибудь наконец победил. Черная собака Джироламо дрожит от страха и ярости, Пьетро раззадорил всех, показывая вместе со мной чудеса в честь св. отца и церкви, и народ того же требует от Джироламо, и будет испытание огнем».

Это второе письмо затерялось, так как в то время меня уже не было в поместье щедрого и красноречивого Капабуона. Наконец я нашла свое счастье. Последним моим возлюбленным и отцом двух моих прелестных детей стал прелат Фьори Белецца.

В 50 лет он сияет седой неувядающей юностью, счастливой волей, прекрасное лицо его насмешливо и блаженно.

Он был силен у престола папы, и Пьетро был его ставленником в борьбе с Саванароллой. Между тем прелат называл Пьетро двусмысленным слугою бога и кандидатом сатаны на самый папский престол, предтечей антихриста и предполагал покончить с ним после Саванароллы.

Прелат прекрасный человек, и он составил все мое счастье.

Я получила последние письма Мафруччи в тот день, когда, лежа в саду прелата на козре, я тщательно записывала диктуемые тексты; молодые солоньи разучивали свои каденции, и трели их были еще коротки. В промежутках между текстами я дочитывала письма Мафруччи, духовидца, поврежденные сыростью.

Блаженный Белецца держал над собой на фоне неизреченной красоты небес книгу св. Фомы и опи-

даясь головой на мой цветущий зад, временами нежно его целовал, постукивал веером и диктовал мне тексты для предстоящей соборной проповеди в день всех святых.

Гармония овладевала миром, и я читала следующее о Саванаролле:

«Его пытали, и он признался во всем и потом отказался от своих признаний. Говорят, из окна тюрьмы он показывал кулаки проходящим людям и плевал через решетку и будто бы он говорил и кричал: зачем я отдал себя? зачем разодрал на клочья свое сердце и разбросал его, как свиньям кровавый корм?»

И все же под конец — пес прокаженный, пророк, он не только проклял видения, сочиненные им лжи, но также отверг все вплоть до спасения души, все, кроме людей, грязной распутной и ничтожной толпы, ради которой он лгал, притворяясь святым, и он плакал о них перед смертью.

Когда он шел на виселицу...».

Прелат, мой возлюбленный, положил мне руку на поясницу и сказал счастливо вздыхая: «Дорогой цветочек, Нанни, запишите следующее».

У меня было двое красивых детей и загородный дом в Риме, когда я собралась во Флоренцию по делам благочестия и прочим делам.

В нашем доме была великолепная кузня, дом мастера был пуст. Тетка давно умерла и Катя исчезла бесследно.

Я вспомнила остров прообразов и прошла в соседний двор: глухая стена дома, когда-то нежилого, была начисто выбелена и сияла однообразно.

Я поехала в дом каплана и увидела, что из его разбитых окон выглядывают огромные дикие растения. Пьетро, убивший девушку, в платье которой были письма Саванароллы, подвергся преследованию со стороны властей и бежал к сарацинам.

Покончив с делами и воспоминаниями, я отправилась на кладбище помолиться чудотворному праху убиенной девицы, весьма чтимой во Флоренции. Здоровье дорогого моего Фьори Белецца начинало внушать опасения и я хотела испросить благословения праведницы для него и для моих детей.

Рядом с могилой под стеклом было выставлено знакомое мне платье с пятнами старой крови коричневого цвета. Я преклонила колена в траве у могилы и прочла надпись: мое имя, имя «праведной Наннетты Румпельфельд» стояло врезанным в священном надгробии.

МАРИЯ В АДУ

ПРОЛОГ

Началось с того, что я ее убил. Она была моей близкой родней. Я принадлежал к легиону ее племянников.

Кроткий и белокурый человек, я стал убийцей женщины в тот вечер, когда понял, что связь мировых элементов склеена ею как сгустком рыбьего клея.

Я боготворю мир.

Она не спала и читала на ночь газету. Я постучался в дверь...

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1. Караван праведных

— Господи, спаси благочестивые и услыши ны!

Мария поправила венчик на лбу и сказала сквозь зубы: «ничего особенно страшного» и опять, зажмурясь, пропела: «Господи, спаси благочестивые и услыши ны!» Ей показалось, что они летят как

бы по американским горам в просторной ладье. Здесь была ее усопшая племянница Катя и здесь был Николай Иванович. И четверо других.

— Масса невидимых вещей,— сказала Марья Ивановна, вглядываясь в подобия того, что было ей знакомо на земле,— Николай Иванович, чем это пахнет? Чем-то пахнет.

Но Николай продолжал горько плакать, так как был потрясен своей смертью после продолжительной и тяжелой болезни.

— Катечка,— сказала Мария, прослезилась и вдруг видит, что Катя, сложив руки на груди, изображает блаженное усупение и вечный покой.

— Катерина!— сказала Мария сердитым и тихим басом и та, не раскрывая глаз, шепнула:

— Что, тетечка? Ах, как чудно.— И Мария тихо сказала: «Дура» и отвернулась, рассматривая пейзаж.

— Заперто.

— Вздор, что такое!

— Заперто,— повторил Николай дрожащим шопотом:— Мария Ивановна, как же?—и Екатерина произнесла: «Молитесь».

— Не суйся меня учить,— сказала тетка,— царю небесный, утешителю!

Тишина. Явственно слышен крик вечерней птицы и шорох парка.

— Царю небесный, утешителю!—сказала тетка грозно,—царю небесный! Безобразие.

— Из-за нее никогда и не впусьят,—сказал Авраам, все еще страдая насморком, от которого умер. Молодой человек сказал сквозь сон: «Мама, не надо!» Профессор и Симеон, отрицавшие потустороннюю жизнь, сопротивлялись своему пробуждению. Ладья стояла недвижно. В раю был вечер. Тишина за стеной была глубокой и нежной.

— Что ж, ночевать в подворотне? Я не привыкла,—сказала Мария, и вдруг — молодой голос:

— Северные ворота заперты! Святый Фаддей! Святый Фаддей! Северные ворота заперты!

Голос кричал с звонким изумлением и невинностью. Послышались шаги, звяканье ключей, сердитый шопот.

— Никогда этого не бывало,—сказал молодой голос с огорчением и кротостью. В ответ грозно в замке повернулся ключ и дважды защелкнул затвор.

Тотчас ладья праведных накренилась, отпала вниз и канула, и люди остались в пространстве.

— Тебе удобно?—спросила Мария Екатерину, но та хитро молчала, сохраняя позу успения.

— Это уже рай?—спросил Авраам покорно, но никто не ответил; люди повисли, сидя и лежа в прозрачной среде без видимой опоры.

— Вроде плавания,—сказала Мария и прошептала:— Чорт знает что, в общем.

Вечер расцвел над стеною рая; по стене, заложив руки за спину, подошел чернобородый человек неимоверного роста и вглядевшись сказал:— Российские. Рай не принимает.

И тотчас пространство качнулось и стало падать, унося людей прочь от райского порога. Желтые лица с отверделыми веками тонули, руки раскинулись вверх и ступни ног сгибались книзу. Так неся небольшой караван праведных, потерявших пристанище.

Никогда ни один праведник не преступал этого порога. Ураган, равномерный и вечный, приносил сюда нечестивых, и каждого принимало жерло той области, куда он был предназначен: области вечного бунта, простых страстей или воителей мысли. В нижние залы и центр не было доступа людям, там гнездились братство Ада и Старший и Младший Вожди.

Желтое плоскогорье Предместья было покрыто пластами праведных тел; их намыло сильное течение пространства, гонимое от северных ворот рая.

Желтая почва грела и ее горячая дрожь приподнимала на себе людские полчища и они трепетали как трава, поглощенная наводнением.

— Железнодорожный туннель! Сюда!—раздался голос Марии и вслед за ней понесся ее караван во вход ею открытый, ибо дарованиям ее не было равных; но тотчас полчища мертвых встали на плоскогории и лавиной двинулись вниз по скату.

— Тетечка, за нами идут мертвецы,— сказала Катя.

— Направо!—закричала тетка и, завернув за угол, помчалась.— Налево!—вопила она, подобрав юбки,— за мною!— и неслась, как мир новорожденный, как круглая гуща горячего чада. В просторах ада бился и летел ее голос с трезвоном нашествия. И вслед за ней, вовлеченные в ее орбиту, неслись Екатерина, Николай, Симеон, молодой человек, Авраам и профессор.

Трое суток вилась тетка Марья, образуя винт своим движением, возносясь к центру ада и в своем коловращении вознося пятерых спутников вслед за собою. И так вознеслись они к порогу центральной площадки ада и там присохли к дверям, ибо двери были заперты.

2. А д

В самом низу стояли котлы и в них кипели клубами в густых пузырях простые страсти.

Выше были пространства вечного бунта и тут сидел младший брат Сатаны и с ним его воинство.

Затем шли залы нижнего ада, где готовились мысли; там были проходные широкие коридоры и сильный сквозняк.

Центральный ад и покой Старшего Вождя были вверху и могли принимать любую форму, согласно измышлениям Сатаны. Тут он варил меды и яды тончайшего свойства, менял мировые скорости и запечатывал готовые мысли. В эти дни он был в состоянии перемирия и наслаждался также карточной игрой.

3. Вторжение

Братство ада было поглощено оркестровкой мыслей Западной Европы.

По обе стороны схода в верхнюю бездну уходили звучащие щиты, и две шеренги темных братьев скользили вдоль щитов по ступеням, видоизменяя звуки прикосновением рук. В белом сумраке головы братьев обращали друг к другу горячие взгляды конских глаз. Согласным движением черная стая опадала вниз, давя ступнями тяжелые педали, или взлетала вверх фонтанами тел в громе звуков.

Младший Сатана сидел на верхней ступени и слушал, засунув в ладони огромный свой подбородок и щелкал пальцами нетерпеливо, когда гроза стихала и пронзительно звенела мысль.

— Осторожно!—крикнул герой Героде, летевший вверх, и бешеным усилием локтей натянул сеть, тормозящую дрожание щитов,—и стал падать.

— Осторожно! Тормоза!—крикнули двое других и стали падать.—Чад внизу!—крикнула стая и тяжело юсела вдоль ската.

— Это чадят старые котлы,—сказал Героде.

— Нет,—сказал Горст и сплюнул,— что делают сторожевые? Кто-то вошел со стороны плоскогория.

— Что такое?—сказал младший Сатана и ударил ногой в половицу, чтобы позвать на помощь: тяжелое дыхание и шарканье туфель донеслось снизу, чад подкатил вплотную и нежные дьяволы вмиг полегли бездыханным пластом.

— Господи помилуй! Унесите их,—сказал Младший Брат своим воинам,—сторожа! Эй, сторожевые!—Но трое сторожевых шли спинами вперед и столкнулись с ним и стали:

— В центр! в центр!—сказали они глухо,—заприте верхний вход в центре, шестеро праведных проникли в спиральный коридор.—Сторожевые грузно ворочали языком и Младший принужден был взвалить их к себе на плечи и тащил их до входа в центр и сбросил там и запер вход. В трубке его всегда горел освежающий костер и кожа пахла крепким скипидаром, это облегчило сторожей и они сказали:

— Рай закрыл с севера врата; в аду нашествие праведных.

4. Праведная Пелагея

Они обернулись и увидели нечто весьма необычное. Сатана, принявший размеры человека и очень хорошо одетый, играл в карты с женщиной чисто-плотного вида.

Двое высших чинов, Михаил и Георгий, скрестив руки, с горечью взирали на происходящее.

— Что это?—спросил Младший и Михаил ответил холодно: «Это праведная Пелагея», а Георгий крепче сжал бледный рот.

— Он знает о случившемся?—спросил Младший, шумно дыша, и Георгий ответил: «Нет, он ни о чем не знает».

Сатана сдержанно и протяжно произнес:

— Вы мне мешаете. Сдавайте, Пелагея Герасимовна.

И она засучила белый рукав и стала сдавать весьма расторопно.

— Уж и так чай в пух продулся,— сказала она приятным голосом, а он повел краем рта и бросил ей три пары карт.

— Чем кроешь? Чем ты кроешь! Чья двойка?— сказала она сердито и он ответил протяжно:

— Моя.

— Ходи в масть, нечистый, крестями крой!

А он смеется и говорит:

— Проиграл.

— Все дочиста?—говорит Пелагея.

— Все дочиста.—И она стала хохотать, трясет плечами и говорит:

— Ну Пелагея! Хороша! Постояла за православную веру. Отдавай, чорт, твои богатства,— и стала тузить его в грудь и плечи, как простого мужика. А он взял и стряхнул счеты.—Ты что ж это счеты испортил?—говорит она, а он покачал головой.

— Плати!—кричит она,—плати! Мне зачтется, я последние грехи у тебя отыграла.

— Святая Пелагея,—сказал Сатана вразумляющим басом,—выигрыш ваш в мою пользу.—Как в твою? Ах ты бес!—Здесь все мое.—Что ж я даром грешу с тобой третьи сутки, проклятый?—Нет, но ради шуточного развлечения,—сказал сатана и посмотрел на нее с удовольствием.—Со святыми шутки плохие,—сказала Пелагея и утерлась рукавом,—святых чтут, а ты что?—А разве не для шутки вы назвались святою?—сказал он и зажмурился. И она встала в праведном гневе:—До того дожить!—говорит и не могла произнести ничего другого.—Так вы действительно святы?—говорит он тихо, но она только всхлипывает в чисто-сердечном гневе.—Почему же вы не в раю?—говорит он еще тише и весьма отдельно.—А почем

я знаю. В раю-то нынче всем отказ. Дверь заперта, не пускают.— И он, продолжая ее наблюдать позвонил.

Тогда Георгий и Михаил приблизились.

— Эта женщина святая?—спросил Сатана, презрительно глядя в сторону.

— Разве это не ясно с первого взгляда?—грубо сказал Михаил, но Сатана прервал его, сказав:

— Дальше!

И тут ему поведали о случившемся.

5. Послание от сатаны

— Рай делает мне вызов,—сказал Сатана и размеры его произвольно увеличились.

— Рай ответит нам за это,—сказали мрачно сторожевые, но Сатана молчал.

— Трое суток заперты Врата?—спросил он и сосчитал тех, кто знал и умолчал ему о случившемся.

Младший брат хотел вступить за виновных и говорит язвительно: «Ты жаждал отдыха и ты играл в карты. Прошли времена битв, и теперь Рай насмеялся над нами. Но я возьму отряд и разобью Врата».

— Я к вам не обращался, мой брат,—сказал Сатана и пристально взглянул на виновных и тотчас они уменьшились в размерах и увидели себя одетыми в платья лакеев и оглянулись: центральная

площадка ада приняла отвратительные очертания трехмерного помещения с полированной мебелью.

Виновных пронизала дрожь и от стыда они ооченели, но взгляд сатаны горел как плавильная печь и он приказал брату взять перо и бланк и писать письмо.

— Высокий рай!—сказал он и брат заскрипел пером и черные брызги покрыли его лицо.—Пиши красиво,—сказал сатана:—Высокий рай! Мы ценим ваш отказ великодушный от древних и бесспорных ваших прерогатив. Разборчивей. Итак, впервые рай предоставляет аду свою законную добычу, граждан высокоправедных и мирных. Еще неясно, рай уподобится ли аду, но нам особенно и чрезвычайно лестно подать ему пример братского единения. Высокий рай! Среди коммуны нашей насажден зачаток рая, скобки: (моя давнишняя мечта!). Нам не хватало нужных элементов и ныне рай первый идет мне в этом навстречу. Взаимной ревности исчезнет всякое основание, а также разница между добром и злом, так как зло отныне добровольно обращено к добру. По истечении трех недель от сего числа просим представителей рая прибыть в бывший ад для канонизации святых бывшего ада и приобщения его к Райским стогнам. Ваш бывший исконный враг, а ныне верный последователь и подражатель. Сатана.

Георгий перестал дышать, его рот почернел.

Младший брат вытер пот на лбу и между лопаток и хохотал так долго, что Сатана немного смягчился. Святая Пелагея смотрела на него, крепко наморщив упругую свою переносицу и развязывала и завязывала узелок на платке под подбородком. Отослав письмо, Сатана сказал:

— Введите праведных.

6. Рай во аде

Дверь невозможно было отворить; стремление праведных к убежищу было столь сильно, что втянуло их в щель под дверью; тут они верещали тихо, но дверные створы, их прищемившие, не поддавались. Тогда Сатана поднял веки, стало темно, дверь сдвинулась вверх, и праведные вползли в темноту и сели на твердую почву ада.

После вращательного полета их одолевала тошнота и, чтобы облегчить головокружение, им дали немного света. «Уж утро», сказал молодой человек, не просыпавшийся со дня своей смерти. «Я расстегнусь, мне давит», сказала Мария; Николай вновь обретал свойственную ему интеллигентность и следил за тем, как тихо наполняет она его пульс и как вместе с тем выпрямляется складка на его брюках. Он сказал: «Необходимо ориентироваться»—и тотчас над ним взлетела сияющая надпись: «Ад», и праведные захлебнулись своим дыханием.

Они лежали лицами вниз и у четверых из них, бывших православными, в костях носа, глаз и гор-тани бились и кипели водопады ужасных слез. Это были Мария, Николай, Екатерина и молодой человек.

Авраам был евреем и поднял руки почтительно и скорбно навстречу ужасу. Прочие двое были безбожны и крайне утомлены.

— Тетечка, у вас нет носового платка?—прошептала Екатерина, но Мария завозилась, стала толкаться и глухим голосом сказала:

— Не буди меня, может быть это сон и пройдет.

— Ад. Коммуна праведных,—сказал голос и по-светлело. Профессор и Симеон приподнялись.

Двое чернобровых людей в ярких манишках шли по ступеням; на каждой ступени стояла небольшая стриженная пальма.

Михаил сказал:

— Угодно взять ванну?

— Угодно сменить платье?—сказал Георгий.

Праведные сдвинулись спинами наружу и головами внутрь. «Боже мой!—сказала громко Мария, но ее ущипнул Авраам, так как дело было в аду, где имя божие могло быть принято дурно. «Я не в том смысле», сказала Мария и ущипнула Катю; «Интеллигентные люди!»,—сказал Николай и заплакал и все заплакали и зашпицели, а Мария закричала пронзительно, так как ей отдавили локоть.

— Угодно взять ванну?—сказал Георгий, бледность его была поразительна.

— Какая ванна, небось кипяток?—сказала Мария, потеряв терпение и Михаил вручил ей расписание температур, меню обеда и план отеля «Коммуна праведных».

— Знаете что,—сказала Мария, севши удобно,—езде ять и «и» десятиричное. Знаете что, довольно суеверия, ванну!—и протянула Георгию руку, так как в сидячем состоянии была тяжела и беспомощна.

— Пелагея Герасимовна!—произнес Георгий и пошатнулся. Тут выбежала Пелагея, вся в белом и чистом и закричала: «Батюшки! Наши!» и подняла Марию и услужила ей в мытье, уборке и одевании.

Они сидели за столом, поджав локти, молчали и ели осторожно с соблюдением всей пристойности. Но молодой человек, в котором еда разбудила грезы, тихо сказал Екатерине: «Вы раньше не бывали за границей?»—«Нет, а разве это граница?»—ответила она. И он сказал: «Это страна для избранных», и с сладкими слезами проглотил десерт.

Между тем пространство ада противилось той форме, в которую претворил ее гнев Сатаны, и матерьял вещей, им наскоро созданных, содрогал-

ся, стремясь к первоначальным масштабам. Стены вытягивались, выгибались, и косо лились, стекло окон огневело и углублялось огромным пузырем, цветы у приборов выпячивали губы и высовывали язык, стаканы сами проглатывали вино и прикосновение каждой вещи к руке праведного было язвительно и знойно. Но праведные, отупев, воспринимали должное, а недолжное смирял взгляд Сатаны; он расположился на вышке и глядел вниз, оперев голову в ладони и облизываясь.

Раздалось хлопанье туфель и везущая поступь, и Мария в халате, телом разбухшим от пара двинулась в зал. Она взяла три стула и села на них и положив себе всего, что было на столе, сказала, что кухня пикантна. Стакан гневно вырвался из ее руки, поднялся в воздух, превратился в огонь и ушел вверх спиральной струей пара; Сатана ударил ногой в половицу, смиряя непокорную материю и грохот медных волн наполнил пространство.

— Туш!—закричала Мария,—встаньте!—и стала взмахивать вилкой. И вилке в такт гром разлился в тихом танце.

— Уже легче,—сказал Авраам и засмеялся и поддерживал трепещущего Николая. «Уже значительно легче», сказал он тихим и веселящим шопотом; Катя радостно заплакала, а Мария закричала: «Палашка, подай мне ридикюль, я в ванне забыла». Ее наполняло утробное буйство и она чувствовала

приближение своего расцвета. Тут музыка стихла, и сдержанный голос произнес: «В коммуне праведных рекомендуются братские чувства, равенство и взаимная любезность. В этом гарантия комфорта».

— Лозунги!—сказала Мария:—все вполне ясно. Спасибо, Палашенька. Катя, посади ее с собой и дай ей чего-нибудь с'едобного. Красавец!—сказала она, увидев Сатану—лакей, кто это вверху?

— Начальник,—сказал Георгий, стараясь не дышать.

— Господа!—прошептала Екатерина и все взглянули вверх и приросли сидениями к мебели.

— Кто?—спросил Абрам тихим шелестом и Николай ответил краем рта: «Не узнаете!»—«Неужели!»—сказала Екатерина и Николай благочестиво наклонил голову и тотчас произнес скороговоркой: «Товарищи, готовьтесь ко всему».

Действительно, Сатана поднялся и приближался к праведным.

— Позвольте!—вдруг громко сказал профессор,—ведь это старый революционер Мансуров, мой товарищ по университету.

— Ради бога, то есть наоборот, профессор,—сказал Николай,—это Сатана, диавол, вы ошиблись.

— Да, кажется,—сказал профессор,—но в глазах его загорелась жизнь.

— Почтить вставанием?—спросила Мария, впеорясь взглядом в приближавшегося демона, но ей

не ответил никто из праведных, ибо все потупились и вертели в руках салфетки.

— Привет!—сказал Сатана печально; праведные пискнули.

— Благодарение!—сказал он со страстью; ответом был тяжелый шум испуга и сытости. Сатана стал поодаль, поник, скрестивши руки и начал медленный рассказ.

— Биография моя отчасти известна,—сказал он,—она длинна и весьма печальна. И вот впервые за долгие века я познаю радость и вижу перед собой свет возрождения. Небеса, предубежденные, доныне все лучшие свои дары таили от меня ревниво. И ныне, наконец, они вручают мне вас, лучшую красу миров, залог моего искупления. Я принимаю дар, немедля восстаю из черного праха к сиянию святых и здесь среди просторов ада я учреждаю «Коммуну Рай».

И он взревел; и праведные сникли и проглотили свои сердца, застрявшие в гортанях. И он взревел: «Да сгинет тьма! И ночь да будет днем! В аду да процветет святых благое стадо! Да воцарится рай, начертанный огнем на вывеске и в сердце ада!»

Так говорил он стихами и рычащим голосом, и это хватало за сердце. И тотчас над главами праведных вывеска означенной Коммуны вознеслась в огненном начертании.

Молодой человек придерживал рукою горло, оно болело от слез восхищения, мир изливался горячею потокою в сердца святых. Мария звучно целовала воздух и ютдувала поцелованный воздух к Сатане и говорила: «Вечная печаль! Как чудно! Мы вас искупим! Искупим!», и чмокала вновь, и Сатана слегка пожелтел под скулами.

— Я извиняюсь,—сказал молодой человек дрожащим дискантом,—но рай такая прелесть, почему он в то же самое время коммуна, вещь так сказать суровая в то же самое время?—и он обомлел от своей отваги, и все обомлели.

— Я коммунист,—сказал Сатана и зарычал, и все обомлели еще раз.

— Бестактно,—сказала юноше Мария и Сатана зарычал еще страшнее и спросил:

— Есть возражения?

— Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, что вы!—сказали святые и Мария сказала:—Моментально пойте что-нибудь такое—и запела Марсельезу и затопала.

— Топай, Палашка, делай такт, главное, ори! *Le jour de la gloire est arrivé.*—что тебе рай задаром что ли дают?—кричала она, Авраам и Николай вопили в восторге и ужасе, юноша заливался рыдающим фальцетом, Симеон храпел, устав от вина, смерти и неловкости, а профессор протер пенснэ и надел его прочно.

— Решительно это Мансуров,— сказал он вполголоса.

Сатана стоял поодаль, засунув руки под фалды, глаза его были как черное стекло.

— Брат,— сказал Сатана младший и тронул его за рукав,— брат, посадите меня на цепь, я за себя не отвечаю.

— Михаил, дорогой мой, посади его на цепь,— сказал Сатана глухо и покачнулся. Михаил увел младшего, придерживав его ляскающую челюсть; в эту минуту Мария крикнула «ура».

— Ура!—крикнули праведные. Сатана подавил судорогу пищевода.—Урра!—неслось как стая визжащих птиц.—Урра! Урра! Урра!

— Воды! мне дурно,—сказал Сатана хрипло и проглотил горькую слюну.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1. День отдыха

Сатана был в своем саду, где предстояло устроить воскресное торжество блаженных. Черные пинии и синие ивы помнили костры инквизиции и утопленников Вандеи. Гнев и мстительная тоска гнали внутри них стремительный сок и смолы, они разрослись вдвое за последнюю неделю. Цветы пылали на грядках кровожадно и скрытно. Они

глядели исподлобья черными и желтыми глазами, черты их заострились и казались обугленными. Большие птицы ходили по земле, волоча крылья и все как одна оглянулись на вошедшего красными и злыми очами.

Сатана приказал саду порозоветь и принять милостивые формы. С пронзительным свистом и бурей сад сгорел на его глазах и превратился в кустарник с цветами боярышника, курносыми и брюхатыми; они висели как гроздь рогатых розовых чайников, полных жгучей влаги. Пробежала петлей желтая дорожка, круг короткошерстого газона покачался в воздухе, лег и выкинул кустики фуксий. Два голубя сели на трельяж и сцепились клювами. И тотчас, смывая воздух блаженства, туча пиний возникла вновь среди незабудковых чащ, гневно сопротивляясь насилию. Сатана бросил в них туфлю и они стерлись, но земля ожгла его голую пятку.

Входит, хромя, Пелагея, одетая в бархат небесного цвета; она раздобрела, рукава ей узки и руки торчат врозь как у куклы весьма дешевой.

— С праздником, Пелагея Герасимовна, — говорит Сатана и видит, что рот ее сморщен и слеза каплет вдоль ее щеки, сияющей пышно.

— Как хотите, это я не согласна, — сказала она и стала делать ногой отпечатки на свежем песке. Он молчал и слушал.

Она говорила: «Обрядили; в проймах режет. Харчи скромные, в копну развезло. Ваши черти с утра все переделают, встанешь, не к чему руки приложить. Я дармоедкой отродясь не бывала». Она всхлипнула, достала из кармана платок, посмотрела на его чистоту, убрала назад и шмыгнула носом.

— Фартуков не выдают!— сказала она и горестно отвернувшись, зарыдала навзрыд и закрыла лицо подолом платья. Сатана вынул блок-нот, записал и прочел: «Постный стол, выдавать фартук; широкие проймы. Еще что?» спросил он.

— Да ну! — закричала Пелагея, — задаешься очень! Уж говорить так толком.— Сатана не любил слез, он прикрикнул на женщину, передернул плечом и толкнул ветку. Капля горячего меда упала ему на руку и он слизнул ее и почувствовал сильное волнение.

В ответ на его грубость Пелагея вздохнула с облегчением и сказал кротко:

— Я может полы мыть люблю до смерти. Мне бы только полы помыть. Веник бы мне да шайку да тряпку хорошую.

— Мойте! Мойте все!— сказал Сатана и обнял ее.

— Задаешься очень,— сказала она с глубоким вздохом,— пойду проймы подпороть.

— Подпорите проймы,— сказал Сатана с страстным умилением, но тут вошел профессор и стал

озираться презрительно. Сатана сказал: «Ложитесь под кустом, коллега, и попытайтесь впасть в блаженство» и позвал Георгия и отдал ему приказания и вышел. И тотчас сад превратился в роскошный шатер и праведные в небесных одеяниях вошли в шатер с тем, чтобы испытать блаженство и довести его до возможных пределов; ибо через неделю в воскресенье званы были представители рая для испытания святости адских святых, их сопричтения к лику и канонизации рая во аде.

Сатана в вечернем платье и лаковых штиблетах взобрался к себе на вышку, сел в парадное кресло и прислушался. С восточной стороны под половицами гудела и тяжело двигалась возня.

— Это мои крысы, — сказал он. От шатра блаженных потянуло запахом пота, Сатана зажег сургуч и понюхал. Некоторое время он сидел и думал о том, что на этот раз ему повезло и не следует ли ему жениться.

2. Испытание блаженством

В райском саду святой Николай сидел под шатром на зеленой скамейке и сосредоточивался, постепенно обретая блаженство; нежный ток его мыслей прерывал вздох Авраама.

— Отсыдьте, Абрам Абрамыч,— сказал он невинным голосом.— Абрам сел на траву и расстегнул ворот. Катя лежала в гамаке и плакала от счастья, ей это далось сразу. Симеон и молодой человек гуляли под руку и молодой человек радостно приседал на каждом шагу. Мария была в неподдельном экстазе и со взмахами рук пробегала, пыхтя, топоча, мыча и лепеча рифмы.

— Катечка,— сказала она,— уже начинается, слушай.— И запела:

Почивши в бозе.
В воздушной позе.
В раю летаю и пою.
Предел желаний
Для тети Мани
Подобно розе
Цвети в раю.

— Как чудно, тетечка! — сказала Катя и залилась слезами.

— Блаженствуйте! — крикнул Георгий.— Блаженствуйте восторженно и упорно. Напрягайтесь! Успех нашего предприятия всецело в ваших руках!

Молодой человек вздрогнул и сказал:

— Семен, вы заметили: не было решительно никакой погоды, и вдруг, вроде дождичек маленький, вроде цветы пахнут. Хотите поговорить со мной, Семен?

— Тепло. Благодать,— сказал Симеон,— располагайтесь.— И сел на скамье, расставив колени и

видя его добродушие, молодой человек был счастлив и потрогал его коленку и говорит:

— Благодать, тихо, хорошо, братство, равенство, я с детства люблю только все хорошее, Семен. Вам очень хорошо?

У Семена оттопырились усы, он моргнул и лукаво задремал и молодой человек, сочувствуя, впал в улыбчивую дремоту.

— Блаженствуйте!— крикнул Георгий.— Ад конкурирует в святости с древним раем. Глубже погружайтесь в праведность! Вы создаете новый рай. Блаженствуйте!

И Мария взвилась возле дремотствующих и, порхнув, заперлюдировала, сделала трель и запела:

Я блаженна!
Ах, несомненно!
Как мотылек на листе.
Скажи, целуя:
Ах, аллилуя,
Я твой племянник во Христе! --

И кинулась обнимать сидящих, но они нарочно не проснулись.

Авраам терзал Николая видом своего отчаяния.

— У меня блаженство определенно не получается.— сказал он.

— Милый Абрам Абрамыч, если вы сами ни на что не способны, не портите другим,— сказал Николай и Авраам заерзал на лужайке и сказал:

— Сейчас начну, — и дико захохотал и покраснел от ужаса. Николай также испугался, но тут Георгий воскликнул еще раз:

— Последнее известие. В ближайшее воскресенье назначен съезд представителей древнего рая. Новому раю надлежит получить утверждение свыше. Успех зависит всецело от вас. Блаженствуйте.

И Авраам весь задрожал от страха и нахлынувших слез, а Николай сказал ему кротким шопотом:

— Дорогой мой! Плакать нельзя. И время еще есть. Экзамен на полный экстаз через неделю.

И видя, что тот весь содрогнулся от рыданий, он сказал быстро:

— Пойте скорей «Птичку божью», иначе мы погибли.

И они стали с трудом со слезами и с ужасной улыбкой петь «Птичку».

— Блаженствуйте! — крикнул Георгий, но тут Сатана заглянул сверху в шатер и сказал:

— Овечки бедные мои, они замучились в поту блаженства, дайте им вина, Георгий. Да, затея поистине дьявольская — и снова прикрыл шатер и выпил глоток крепкого огня, а профессор подошел к нему и стал смотреть на него с укоризной.

— Отчего вы не на празднестве, профессор? — сказал сатана сурово, но втайне веселясь.

— У вас дурной вид, — сказал профессор, — скажите, кто вы по образованию?

— Историк, богослов и социолог. Вы здесь обязаны испытывать блаженство.

— Какая цель всей этой буффонады? — сказал профессор; — я не могу видеть эту женщину, коллега.

Но Сатана смотрел мимо него.

— Вы были на ложном пути к раю? — спросил он лукаво.

— Это происки женщин, любивших меня, — сказал профессор.

Так шла мирная беседа и к ней присоединилась Пелагея. Она пришла, неся иголку с длинной ниткой, и села у ног Сатаны и говорит: «Скинь щиблеты» — «Зачем?» — «Носки заштопать» и разула его и была огорчена донельзя совершенной целостью дьявольских носков.

— Вы замужем? — спросил Сатана и она сказала: «А ты посватай». Тут Сатана крепко прислушался и улыбнулся весьма тонко. Стук одноколки летел со стороны райского проезда.

— Ответ на мою эстафету, — сказал Сатана, — Георгий, оденьте меня, — и плечи его облегли сложенные крылья и на левой ноге засияло черное копыто и тройная шпора над ним, а в его изголовьи выросла стена из багровых знамен, и были древние в лохмотьях и засохшей крови, а новые были из самого свежего шелка.

— Что это ты делаешь, к чорту рога, — ска-

зал Сатана и провел ладонями вдоль пробора. Тут вошел неимоверного роста бородатый человек с бельмом на глазу и в нарядной сермяге.

— Добро пожаловать, пресветлый брат,— сказал дьявол и тот сел напротив и расправил бороду.

— Премудрый брат, желаю вам блаженства,— сказал он говором приволжских грузчиков и устался на Пелагею. И Сатана ответил:

— Не ясно ли очам твоим, пресветлым, что мы изнемогаем от блаженства?

И тот загнул бороду вверх и прогудел в бороду нечто неясное. И Сатана подал ему конверт с надписью и сказал, что в конверте приглашение райским чинам на съезд, назначенный через неделю для причисления ада к райским сферам и окончательной его канонизации.

— Ах, чтоб тебя перекосило! — сказал приезжий и хлопнул себя по бокам: отцы приказали проклясть тебя четырежды.

— Вы кто такой? — спросил Сатана сурово и тот вручил ему вверительные грамоты Рая.

— Василий Бык? — сказал Сатана, просмотрев бумагу,— могу ли я говорить с вами? Вы бывший конокрад и наружность ваша подозрительна. Мы ныне святы и тщательно избегаем соблазнов,— и он с томностью обнял Пелагею.

— Хошь я и конокрад, но великий молитвенник,— сказал Василий,— а это что, святая что ль?

— Святая!— сказал Сатана,— и вскоре наше блаженство превзойдет все райские радости.

— Со святыми тебе упокой!— сказал Василий, поморгал глазами и говорит:— Слушай, ради старого знакомства прими ты меня к себе в ад хошь по последнему разряду. Богом прошу.

— Это мне странно,— сказал Сатана.

— Взятся я раз молиться, что было сил,— сказал Василий, еще при жизни было, и смаху все грехи отмолил. Начисто. Теперь терплю.

— Неосмотрительно,— сказал Сатана и поцеловал Пелагею, а она утерлась с удовольствием.

— Скучно мне. Сидишь как репа.

— В раю-то рай!— сказала Пелагея. Сатана молчал.

— Хочешь в ноги поклонюсь!— предложил Василий. Сатана молчал. Василий стал на колени.

Сатана двинул плечами, скинул крылья и остался в вечернем платье, весьма его украшавшем.

— До истечения недели,— сказал он,— вы обязуетесь избавить меня от одной из моих праведниц и тогда займете освободившуюся вакансию.

— Ангел ты мой! Души не пожалею!— сказал Василий и стал хохотать с ужасным грохотом и от радости сиял зубами и глазами и говорит:

— Покажи теперь твоих блаженных духов, очень я охоч до безобразия.

Края шатровой стены взвились фестонами; сугробы белых голубей облепили шесты; голуби шевелили мохнатыми лапами и дергали друг друга за клювы; розы, утроившись и учетверившись в толщине, развалились на грядах. Симеон и молодой человек грациозно спали. Катя лепетала. Авраам и Николай, достигшие блаженства, слагали четверостишия и хихикали. Мария сидела прочно и сердито на голой земле в роскоши и беспорядке.

— Куда Палашка провалилась,— сказала она и Николай ответил ей стихами.

Блаженная овца, резвился до утра,
Пасомая на райских росах.
Да не коснется твоего ребра
Пасущего тяжелый посох!

И Авраам залился счастливым смехом, глотнул райского напитка, но спохватился и сказал:

— Лучше давайте тихонько, Николай Иваныч, кто его знает.

— Да,— сказала Мария,— здесь все-таки не кабак. И в настоящем-то раю, я полагаю, святые трепака не пляшут.

А разве это рай не настоящий! — спросил Авраам, ибо он стремился причинить этой женщине неприятность.

— Это! настоящий! — сказала Мария с горечью и грозно поднялась, увидев вдалеке Пелагею. И двинулась к ней, страшно лякая босыми ступнями.

— Ну это такая женщина! — сказал ей вслед Авраам, но Николай зажал ему салфеткой рот и предложил поцеловаться.

Мария шла подбородком вперед, неся курчавые жиры своих телес и сотрясая плотностью своих очертаний с такой силой, что весь контур ее прыгал вокруг могучей основы.

Она водрузила правую стопу на ступень лестницы и, воззрясь в высь, произнесла:

— Что ж это будет дальше, я спрашиваю? Мы тут вспотели от блаженства, как скот на бойне, а вы что ж, в сторонке? Палашка! С тобой говорят! Думаешь, ты в загробной жизни, так на тебя и управы нет! Где равенство? Начальник, к вам обращается дама! Уж если она преподобная, чорт возьми, так пусть и поступает преподобно.

Свесив бороду, взирал на нее Василий. Сатана встал, но она прищемила ногой подол его плаща и завопила.

— Пугни ее хорошенько, — сказал Василий.

— Пушечную пальбу, — сказал Сатана в рупор и потянул свой плащ, но орудийный залп ее не остановил, Мария громко захохотала и села на плащ. — Громы! — сказал Сатана, но Георгий, потеряв терпение, приказал реветь своему дракону. Это был раскат столь страшного грохота, что все вещи и воздух разломались на составлявшие их элементы, все контуры предметов умножились и это мно-

жество контуров задвигалось наподобие параллельных смерчей. Мария издала нескончаемый визг и визжала, покамест не прекратился грохот и дальше, так как дыхания и вопля в ней были больше, чем в старом драконе Георгия.

Тем временем Сатана, Василий и Пелагея исчезли и в наступившей тишине Мария глумилась над ними, произнося ругательства, и спокойно сидела, и плащ Сатаны был под нею. Тут пришла Катя, и Мария говорит: «Что было, Катечка! Начальник мне показывал адские эффекты» — «Вообще тут чудно, тетечка», сказала Екатерина, а Мария зевнула и опять говорит: «Ничего себе. Знаешь чего не достает: Кино!». И вдруг полезла прямым ходом вверх и села в кресло Сатаны и сказала: «Современный рай без кино? Этого быть не может».

И тотчас святым голосом и в пристойной форме отдала приказание в рупор среди всего блаженства учредить кинематограф.

И тотчас погас свет и на экране побежали тени.

— Музыку! — закричала Мария, — не ту, не ту, вот эту самую!

И по стене потекли пейзажи.

— Катюша! Видовая! — сказала Мария и блаженно зашевелила сидением.

— Вот теперь я в раю, Катечка, сиди смирно, — сказала она.

3. Закат сатаны

В отдаленной келье Сатана бился в припадке падучей. Василий закрыл лицо его полотенцем.

— Батюшка мой, — сказала Пелагея, — что тебе попритчилось?

— Василий, — сказал диавол и скинул полотенце; с желтого лица смотрели одичавшие очи беса:

— Василий! Георгий и Михаил ныне мне слуги; в течение двух дней убери в рай Марию и я сопричту тебя лику бывших архангелов и ныне первых во аде.

— Милый ты мой! отец мой истинный, — сказал Василий, — да я с радостью! — и ютбыл спешню.

Была глубокая ночь. Великий бес не спал, его беспокоило состояние ада и он делал обход. Полчища праведных тел были задержаны в нижних залах, где своевременно стражей были заперты большие двери. Там праведные плавали в густом воздухе и были малоподвижны. Сатана взглянул на них сверху и увидел одноцветную людскую гущу и заключил, что отбор производится закономерно и в рай направляется товар не теплый и не холодный. Основные законы на земле стояли твердо, и дерзкое нарушение их со стороны райских сил было частным случаем превышения власти кого-либо из окраинных райских властей; этим

можно было воспользоваться с большой выгодой и поселить рознь и децентрализацию внутри рая.

Кроме того зрелище благочестия среди адских стогн могло быть жестоким поучением раю; но бес не ждал больше воскресения и не предвкушал злорадных удовольствий, но был крайне озабочен и нездоров.

Он прошел черным садом и увидел в плоских кронах пиний белых голубей, которые не улетали, а посреди дороги лежала мертвая змея; он поднял ее и положил в жилет, суеверно думая о том, что это дурное предзнаменование. Потом он заглянул в помещение тех великих братьев, кого он сделал лакеями праведных, и они не спали и состояние их было таково, как если бы они выпили медленно действующий яд.

Осторожно, чтобы не быть услышанным, он вышел на берег моря. И оно ревело и возилось грузно и встало горой ему навстречу, и он был доволен и ему показалось, что змея проснулась у него под жилетом.

За ним следовала тень.

— Василий! — сказал дьявол. Но Василий не мог перекричать шум моря и был мрачен. Они вошли во внутренний коридор, тут был сильный сквозняк и падали капли и дьяволу было неприятно, что он не один; он видел, что случилось величайшее несчастье.

— Ад не приемлет Марию? — сказал Сатана и Василий ему ответил:

— Разве ты не узнал ее? Это твоя смерть.

— Да, это знаменитая женщина, — сказал Сатана, — но пусть берегутся святые, она была предназначена раю и мы еще посмотрим. Уйди теперь и будь здесь в воскресенье. — И он опять вернулся к морю.

Рассвело.

И вдруг светлой скатертью отхлынуло море и качнулось и стало голубой рыбой. Он подумал, что утро и что проснулась Мария, он вынул змею из кармана и увидел, что она мертва.

Сатана вновь поднялся по лестнице и прошел в коридор Отеля. Раздались два звонка, но нигде не было движения.

Дежурный часовой сидел, прислоненный к стене, и бес толкнул его ногой, но тот остался недвижим.

Авраам и Николай в белье сидели рядом и глядели на свет лампы в потолке.

— В воскресенье страшный суд, — сказал Авраам, и Николай ответил:

— Она погубит нас.

— Она сделает безобразие и мы погибли. Убить ее до смерти! — сказал Авраам.

— Невозможно, — сказал Николай, — она уже один раз умерла.

— Закатать ее в ковры и положить в сундук, — сказал Авраам, — а сверху утюги и кирпичи.

— Нельзя, — сказал Николай, — она в списке.

— Где в списке?

— В книге бытия.

— Это ужасно, — сказал Авраам, — но мы скажем, что ее больше нет нигде.

— Как нигде? Скажут: а где же она?

— Иссякла, нету, — сказал Авраам и стал дрожать сильнее; — я сделаю это сегодня! — И Николай просил его ничего не делать ради их жизни.

— Вы сами тетка Марья после этого, — сказал Авраам грозным шопотом — я принесу ее на алтарь революции.

— И нас? — сказал Николай горько.

Авраам встал и втиснул руки себе в грудь: .

— Знаете ли вы, что нам служат бывшие архангелы и что дыхание наше им противно? — сказал он, — у меня страшные мысли о самом себе. Николай Иваныч! — сказал он со слезами ужаса: — Николай Иваныч! никого из нас нет ни в каких списках, — потому что мы тли.

— Тли?

— Тли! — сказал Авраам и Николай бросился к нему в объятия.

Озябнув от горя, они принесли одеяло и завернулись в него и стучали зубами и Николай сказал:

— Абраша, ты открыл мне глаза и я пойду за тобой на край света.

— Мы уже на крае света, — сказал Авраам, — сейчас снимем ковры и пойдем вниз ее завертывать.

И они встали на площадке и посмотрели вниз и прислушались. Три разных храпа донеслись к ним из коридора женской половины. И они различили храпы Пелагеи, Екатерины и Марии.

— Теперь я согрелся и готов на все, — сказал Николай. — И они взяли с двух концов ковер и стали его закатывать.

Тут сверху раздался голос Сатаны.

— Дежурный! — произнес он, — просите праведную Марию подняться на вторую площадку! — и, услышав его шаги, оба бросили ковер и скрылись.

Мария и диавол шли друг другу навстречу.

— Сядьте, — сказал Сатана и взглянул на нее с неизъяснимой страстью. И он вызвал пятерых служащих отеля и объявил им, что слагает власть и до истечения недели сдает ее в руки великой праведницы, и горе тому, кто нарушит долг послушания до истечения недели.

— Блюди мои стада, — сказал он Марии и повел пожелтевшими белками глаз: — Я прозрел твою миссию и влагаю в десницу твою мой посох. В день воскресный ты предстанешь перед святыми

рая как лучший алмаз во главе тобою пасомых и примешь от них венец и вечное благословение аду, праведным ада и мне.

— Я имею пред'явить ультиматум, — сказала Мария, но Сатана зарычал, и она сказала, что молчит и на все согласна, и он улыбнулся ей огненно и она поцеловала его, и он был страшен, но вручил ей мандат и всю власть на оставшиеся дни недели.

4. Царство Марии

Мария получила дар творить по слову своему.

Везде легли ковры и дорожки, ковры и дорожки и раздалось пение канареек.

Святые варили варенье, собирали лекарственные травы, слегка лечились и делали маринад. Екатерина была объявлена невестой и произошло ее обручение с молодым человеком.

Общие прогулки сопровождались пением Интернационала, в калошах и с зонтиком, так как в среду и четверг шел дождь.

Симеону разрешено было пить чай с блюдечка и каждый из святых обязан был вести с ним диалоги по образцам грамматики Марго. Из внимания к Аврааму все анекдоты были запрещены, а также какие-либо национальные блюда, каша из манны составляла ежедневный десерт.

Перед ликами вождей всех времен возжигались лампы и произносились молитвословия на велико-

постный текст с выдержками из книги о домоводстве.

Екатерина охотно подчинилась насилию, и Мария слушалась ее советов и предложила ей быть цензурой и та согласилась, имея характер в'едливый и дотошный. Прочее население, пережив первоначальный столбняк, попыталось отправить депутацию к Сатане, но след его исчез и от него остался один мандат с его подписью в руках Марии.

Тогда профессор притворился больным и слабоумным и лег в постель, и Мария им пренебрегла, считая, что он уже готов принять венец и достиг должного.

Николай, Авраам и Симеон сговорились о террористическом акте и стали подолгу стучать в половицы в трех местах, где слышалась подпольная возня, и ждали помощи из подполья.

Однажды приоткрывается половица и оттуда смотрят черти классического вида, это были котельщики. Произошли переговоры.

— Дорогие черти, братцы! — начал Симеон, но не успел сказать ничего другого, ибо дьяволы схватили его за штанину и поволокли в люк.

— От них пахнет пылью и тряпкой, — сказал большой чорт, — надо бы их прочистить, а то дух проходит до низу, — и стал ловить за ноги также Авраама и Николая. Так бы они и пропали, если бы

не подоспел преподобный Василий Бык. Он не послушал диавола и в рай не вернулся, но спрятался под лестницей и следил за происходящим.

— Оголтетье, — сказал он чертям, — оставьте людей: от них ни вреда, ни пользы, хватайте Марью и сажайте в большой котел, может уварится, а то прѣпало ваше дело и самому сатане конец.

Тут вошла Мария в платье из знаменного шелка и восхищалась живописной прелестью дьяволов и ее подманили к самому люку и Василий шепчет большому чорту «Тащи!» — а чорт сварился и обмяк и трое других обмякли. И так как они были голы, то она приказала подать свое белье из комода и одела им панталоны с оборкой и завязала тесемки и застегнула пуговицы и они выпали из ее рук, как комья черного теста в белых узлах и плюхнули вниз черными плюхами, а она приказала дать тазик и вымыла руки и надушилась одеколоном Тэжэ. Потом увидела Василия и говорит: «ах это вы! не из райских ли?» — А он говорит: «из них», и вспомнил, как служил прежде в кучерах и поморгал почтительно. А она говорит: «Передайте там всем всем всем, дамам в особенности, что в воскресенье у нас с'езд и я буду выступать от общего лица и отвечаю за все последствия. Я прошла на выборах единогласно и имею от чорта мандат за исключительное мировоззрение; Симе-

он, дайте мне калоши». И взявши Семена под руку, вышла пройтись и позвала с собой Николая и Авраама, которые тихо хохотали от горя и были близки к потере рассудка.

Василий Бык был терпелив и верил в мудрость. Он жестоко скреб в загривке, поднявши копну волос, и тщился найти спасительный выход, когда с шайкой, вся в пару, вошла Пелагея и шлепнула мокрую тряпку о пол и стала ходить ходуном, возя по полу тряпку, всю в роскошных и пенных дымящихся лужах.

— Чего стал столбом! — сказала она и толкнула святого, а святой говорит: «Невежество!» — А она говорит: «А в рай святых не пускать, это что? это вежество? Каких дел наделали!» — «Поди ты к сатане!» — «И пойду, говорит, а вы бы свое барахло убрали бы отсюда, крысятиной по всему. дому пропахло» — «От кого?» — «Да от тетки». — «Сама ее убери», сказал Бык, а она говорит: «Уберу: ко мне чорт сватается».

Тут Василий произнес много слов, какие повторить невозможно, ибо радость его не знала предела.

И они сговорились, как им поступить, и когда возвратилась Мария, Василий говорит без страха:

— Дозвольте огласить торжественный случай о предстоящем соетании браком начальника райской коммуны с новопреставленной праведницей.

Пелагея Герасимовна, когда свадьба?— Да, вот, говорит, после с'езда что бог даст», и возит тряпкой по полу. Тут Мария наступила на тряпку ногой и говорит с громовым сопением ноздрей и со свистом грозной одышки: «Палашка, дрянь! ты что ж это!»—«Стерпите, тетя»—сказала благочестивая Екатерина, но была повержена в прах и пену луж.

— Не лезь! — сказала Мария и зарыдала страшным рыданием, и произнесла:— Зачем я здесь! За что! О господи! Была жива, жила, имела в Эсэсэр мечту и будущность, великолепные надежды! И где же я теперь! В от'явленном аду! В тартарах самого низкого свойства. Я не могу! Умру! Уйду!

— Гряди, матушка. Кому охота терпеть,— говорит Василий. — Отряси проклятый прах, а я тебя до ворот провожу.

Но тут их дело сорвалось.

За последние дни сила Марии возросла беспредельно, и Василий был смыт ее дыханием в далекий угол. Все звонки зазвонили неистовым заливом, гонг проревел и треснул и раздалась барабанная дробь и вопль Марии, подобный бляению тысячи овец: «Где эта сатанинская свинья! Начальник ада! Начальник! Начальник!»

И тихо прозвонил телефон и она взяла трубку и в трубку просвистала: «Да с, это я с!— Что, умираете?— и стала тише: — почти что умерли? Да

что вы говорите!» И стала слушать и затихла совсем. Затем прослезилась и произнесла:

— Дети! Ангел наш при смерти, но еще дышит. Он провозгласил меня своей наследницей. Что? Он говорит: упадите в обморок, это более всего прилично. Сейчас! — сказала она в трубку, и царственно ища поддержки парящей дланью, она великолепно простерлась подобно двугорбой горе, воздымаемой смертоносными парами.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1. Страшный суд

Вторая неделя истекала, настал день воскресения. Сатана возлежал на смертном своем ложе и возле уготована была достойная гробница.

Нежный кухонный запах паром уходил ввысь и хотя потолков не было, но чад не истощался и тек, густея, вдоль тлеющих стен. Ад истлевал внутренним тихим и теплым пожаром.

Георгий и Михаил ушли на морской берег и полегли бездыханно на двух утесах, томясь услышать грозный голос былого. Но море висело тонкой пленкой между высью и бездной и было завязано поперек лентой из бумажного шелка. Прочие слуги были нарядно одеты в этот день и пристонены к стенам, но совершенно недвижны,

ибо выплюнули всю свою внутренность и засохли.

Под половицами катился грохот и снизу сильно ударяло.

— Что еще? — сказал Сатана слабо, и раздался глухой голос: «Сними цепь».

— В четыре пополудни, — ответил Сатана.

— Последний срок? — сказал голос вечного бунта, и Сатана ответил: «Последний».

Тогда внизу заметались полчища и пронесся рев, но Сатана взлетел с своего ложа и грянул железом в половицу, и с этой минуты настала страшная тишина.

Тогда гром начался сверху. Вдалеке задрожало железо, поднялась гармоническая стукотня и полетела ямщицкая песня.

— Рано, рано, — сказал Сатана, — слишком рано. — И тотчас позвонил и покинул кресло, вцепился в высокий край гробницы и, перемахнув через край, улегся на дне гроба, высланном лавандовой травой.

На звонок пришла Пелагея и, услыша голос сверху, закричала: «Приехали!» и распахнула входную дверь.

— Да будет уж, князь! — говорит приятный голос: — отвертки нет, тащи как есть с гвоздями.

— Копыто повредишь, — отвечал озабоченный голос.

— Ну пусть повозится, коль есть охота, — сказал святы́й Фаддей, казначей рая, и вошел в двери и оглянулся вокруг.

— Пусто! — сказал он: — ни чертей, ни чорта, ни черта! — Пелагея приложилась к его руке, и он в изумлении спросил: «Чья будешь?» — «Здесьняя», говорит. «Как так? Ты адская? Но лик твой светел».

Пелагея отвечает с глубокой верой, что здесь, ол, не житье, а рай.

Тогда Фаддей сказал: «Говорю тебе, еще сегодня будешь со мною в рая» — «Нет, на это, как хотите, я не согласна, — говорит Пелагея, и он испугался и спросил: «Где Сатана?»

Но тут вошла Мария и кричит: «Палашка, Палашка! Подшей рубец, — а Пелагея вежливо замечает: «К нам небесный гость, Марья Ивановна». — «Ну что ж, говорит Мария, ведь вы, я думаю, не сам господь, а кто-нибудь все-таки попроще. И вообще раньше четырех мы никого не ждали». А Пелагея говорит тихо: «Мария Ивановна, нехорошо, неприлично». А Мария в ответ на это не нашла ничего лучшего, как подойти к ней и плюнуть. И в ответ на шипящий плевок Пелагея, вздохнувши, сказала: «Ах, нет тебе помину на земле!» И Мария плюнула вторично, а Пелагея говорит во гневе, но в спокойствии: «Надо, надо бы тебя под ребра двинуть, но не могу». И Мария плюнула еще и Пелагея покраснела ужасно, но скрепилась, а Фаддей

приблизился, но не смел вступить. Мария подняла перед нами подол своего платья, и говорит: «Голубчик, подшей рубец в наметку, юбка висит. Да живей!» И Фаддей подшил криво и торопясь, и юна ему говорила: «Ровней, безобразие какое! Закрепи. Хватит. Откуси нитку».

И ушла. И Пелагея вынула у него изо рта откушенную нитку с иглой, а он шепчет: «Чья такая?» — «Ваша, ваша, райская», говорит Пелагея, а он схватился за ободочек святости над своей прической и замер в страхе и шепчет: «Где Сатана?», а тот поднялся из недр уснения, весь желтый, в саване и речет:

— Придите поклонитесь сатане, усопшему во гробе!

И Фаддей полиловел прозрачно и по воздуху поплыл к Сатане и стал перед ним, сияя чистым ужасом — и произнес с хрустальной звонкостью:

— Какою новой ложью тревожишь мир?

Но Сатана не уступил ему и стал огромен и зелен и бровь его остра как синее перо и правая его рука светила, как коричневый сталактит.

— Я отвергаю зло, — сказал он весьма протяжно: — и с кротостью мирной я отстраняю свое владычество. Да будет только свет и да не будет тьмы.

Тут Фаддей сразу устал ужасно и присел на ступень и несколько постарел. Сатана продолжал:

— Да будет новый потоп, и добродетель и тихое довольство прольются неистошимо; да не будет гроз, и не будет крови, и ни страстей, ни деторождения.— И приумолк.

— Говори все подряд, — сказал Фаддей и сгорбился и стряхивал с себя трескучие вспышки огня при каждом дьявольском слове.

— Весны не будет больше, — сказал Сатана, — не будет ни грохотов, ни песен, моря упадут и полягут и люди перестанут говорить и не будет ни смрада ни благоуханий.

— Князь! Князь— позвал Фаддей и задул горящий рукав.

— Не будет иерархии миров, миры сольются в чин высочайший равенства, который есть ничто.

Фаддей быстро встал, ибо ступень под ним раскалилась, теперь он был стар и сказал шепеляво:

— Нам неприятно, витязь знаменитый, твое падение.

— О да, — ответил Сатана, — теперь я падаю. Ты прежде называл падением мою победу. Теперь я падаю, я падаю! Мое уничтожение влечет к уничтоженью твоему, ад распадается, рай растворится, настанет тишина, которой не бывало; одной потянется протяжной нотой последним в мире звуком ля бемоль.

И он стукнул о камень гроба камертоном и поднес его к уху Фаддея и Фаддей запел высокое ля

бемоль и все его составные части раз'единились и, опустев, зазвучали, но тут вошел князь и Фаддей с трудом собрался и сел в сторонке, будучи все еще вне себя. А князь входит и сияет небесно, а в руках держит конскую подкову и говорит:

— Здравствуйте, премудрый, вот у любимого коненника подкова треснула, ложись после этого на верных людей, — и показал подкову и еще говорит: — Что это вы, недомогаете? — и пожал руку Сатаны.

— Рад видеть вас перед смертью, — сказал Сатана гнусаво. И князь засмеялся и говорит:

— Обойдется. Виноват. Не доглядел. Времена плохие. Святая Русь в безбожии и удержу ей нет. Конечно, ущерб велик, но запереть ворота! Это, признаюсь! Надо понимать. Смешно и неприлично.

— Дайте нам вина, — сказал диавол, и князь смотрел, как он наливает вино, и видел, что рука его дрожит.

— Смешно и неприлично, — сказал князь: — мы избавим вас от затруднений.

— За упокой моей души, — сказал Сатана и выпил.

— За процветание ада! — сказал небесный князь, выпил и засмеялся.

— Ах! и все же меня томит жажда жизни, — сказал диавол. — Выпьем! — сказал князь и Сатана стал тихо напевать реквием.

2. Пророчество Иезавеля

— Что сие? — спросил князь, когда семеро праведных предстали у престола Сатаны.

— Показательная колония святителей, пресветлый, — ответил Сатана.

— Взыскуют ли града истины? — спросил князь и Сатана ответил:

— Взыскуют и тщатся о венце лика святых. — И князь стал искать взглядом Марию и заметил ее. — Реките что-либо, — сказал он.

Глухое молчание. Слышно было, как святые глотают слюну страха. В груди Авраама, Николая, Екатерины и жениха ее спирался вздох: князь ослеплял прелестью военных одежд, но ужас превозмогал чувства; смертный хлад веял святым в уши и затылок, в носу свистела застывшая слеза.

— Отверзите глаголы, — сказал Фаддей: — иначе суждение о праведности вашей и степенях ее затруднительно.

Раздалось дрожащее мычание и стихло.

— Мычат, — сказал князь и заглянул в гробницу, но Сатана зажмурился и сказал:

— Неправда ли, пресветлый, прекрасный человеческий товар? — и стал мирно храпеть и все на время вздремнули.

-- Ох как хочется! В рай как хочется! — сказала вдруг Екатерина, — хоть в уголочек! Пустите в уголок!

— Пустите в уголок! — сказал ее жених и заплакал и засмеялся и задрожал вслух.

— Натерпелись! — сказал Николай из глубины своих недр и зарыдал.

— Ваше сиятельство! ваше сиятельство! ваше сиятельство! — сказал Авраам, и четверо зарыдали и поползли, дабы коснуться райской обуви князя, но князь дрогнул и произнес:

— Не надо.

И они взапас целовали свои руки, делая знаки преданности и великого самоуничужения.

Симеон весь зажмурился, стоя в сторонке, но покашливал в знак самообладания. Профессор отдался во власть слепой стихии, уши его были набиты ватой и он не смотрел и старался не дышать.

— Прикажи подавать, князь, — сказал Фаддей тихо, видя, что Сатана уснул. В воздухе всплыла небесная лодка, и князь говорит осторожно:

— Марью не тронь. Прочих грузи, — и произнес: — Отныне рай приемлет вновь — всю тихую, незлую, невредную, земную тварь, — и осенил крестом грядущих.

Но тут Сатана заворочался, щелкнул во сне языком и князь сказал, наклонясь ко гробу:

— Фарс кончился ничем, премудрый. Соболезную!

— Тсс, — сказал Сатана, — это трагедия и она близка к развязке. Взгляните на Марию. — И приказал бить в барабан и трубить в трубы.

— Прошу слова! — сказала великая женщина и выступила вперед и взяла в руки знамя. На голове ее был огромный картуз цвета пламени и красная звезда приколота на сердце. Она кинула могучий взор в сторону своих пасомых и произнесла:

— Извините, что я вижу? От руки предателей все погибло. Кто вы? Хамы. Где заветы революции? Неизвестно. Где Сатана, мировой вождь? Он бьется в (предсмертных судорогах! И только в сердце слабой дамы огнем горит сознание долга. Мне искупление и аз вам дам, как сказано. И я объявляю: я это я! Рай внутри меня! Все спасено, и я наследую царство. Дайте мне руку, мой друг, — сказала она Сатане, — служители рая могут закрепить нашу связь актом бракосочетания.

И князь и Фаддей были рады: этот брак избавлял рай от Марии навеки, и Фаддей поправил на себе стихирь и приободрился.

Но тут Сатана наполовину вылез из гробницы и сказал:

— С подлинным верю. Пресветлые, обвенчайте меня с этой женщиной и пусть произойдет все предреченное мною и пророком. — И князь спросил тихо: «Фаддей, что произойдет?» — «Сказано у Иезавеля, — сказал Фаддей: когда с вождем воинствующих сил соединится мировая пошлость, произойдет распад светлых и темных миров и будет ничто». — «Что делать?» спросил князь. — «Венчать, —

сказал Фаддей,— сатане Мария под-стать, а рай через нее погибнет». — «А пророчество?» — «Это несбыточная вещь,— сказал Фаддей: запевай, князь». И они сладко и томно заголосили венчальное, но как только воскликнули: «Исаия ликуй!» — Сатана умер.

И тут все потекло вокруг: полосы райских воздушов лились в керосиновых струях адовых влаг, полотнища зеленей и пастбищ рая разболтались в кромешной тьме, образовали мутный кисель и черная копоть хлопала и ломалась повсюду, густые подтеки адской ржавчины заволакивали глазной белок, темные и светлые ливни неслись, громко глотая друг друга, на небе образовалась сыпь и там где она опадала, было ничто. Труп Сатаны всплыл и качался, раз'единяясь, и Фаддей, фыркая и захлебываясь, провопил:

— Осади, князь, осади! — А князь уже летал, делая круги в водовороте мешанины, и он наскоро оплевывался через левое плечо и бросил обручальные кольца на восток и на запад, и во мгновенные воздух и формы, колеблясь, вошли в себя.

— Помолись и помяни в молитве пророка Иезавеля,— сказал князь сердито, отчищая локоть от сивого пятна смеси, образованной распадением. Но тут Пелагея, красная от ярости и слёз, прибежала с утюгом и погналась за Марией Ивановной, крича:

— Уноси ее сейчас, райская твоя сила! Грузи ее в райскую лодку! Вези отсель!

— Караул! — кричал Фаддей; — караул! караул! караул!

А Мария уже носилась во взбудораженном пространстве, как шар, раздуваемый изнутри, — так события развезли ее во все стороны и, превращая в плотный символ, увеличили ее до страшных размеров. При этом она сопела как старый адский котел и поглощала дыхание людей и свежесть воздуха. Увидев это, люди кричали от страха, а Василий, набрав воздуха сколько мог, ревел, призывая воинство ада. Но сопение Марии всколебало глубоко почву, и люки, едва приоткрывшись, закрылись мгновенно. И Василий стал бегать, свергаемый вихрем юбок Марии, и ловил ее за каблуки и спрашивал ее адрес. Но она парила и не ловилась.

— Проколите ее сбоку, Василий, — сказал профессор и вынул вату из ушей.

Проколотая, она опала и стала оседать и садиться и сказала, сев: «Адрес: Покровка, Лялин переулок».

И тут погрузили ее в ладью и, раскачавши, швырнули ладью в пространство по адресу: «Покровка, Лялин переулок».

И ладья взлетела и тонула вдали и все долго глядели ей вслед.

Потом крепко тряхнулся весь мир, скрипнул и стал на место и Сатана потянулся, воскресая, и сказал:

— Ах! Снова меня томит жажда жизни!

ЭПИЛОГ

Мария бьется, взрывая постель так, что летят мелкие перья из-под наволочек. И кричит. Потом стихает: сопение ее приподнимает вокруг покровы простынь и она говорит:

— А что это в окне? Москва?

— Вот она я! живая! — говорит она и лезет вон из тепла и пуха, — и не помру! — говорит она и с лязгом плотной плоти хлопает босыми стопами по полу и, ставши к окну, чешется сильно и вспоминает без слов.

— Палашка, кофею! — кричит она с заливом и храпением и, распахнув оконные створы и оперев длани о подоконник, смотрит вниз и смеется весьма лукаво.

Москва—Махинджаури.

МОИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Настало мое время.

Приветствую!

Мне очень удобно, я вижу всю свою жизнь, это маленькая остроконечная гора; сегодня мне тринадцать.

Теперь я буду первая в моей стране: в ней четыре комнаты—кроме того мама, Вера, няня, живущая тетя и приходящая бабушка. И я.

Все они поочереды отказались за меня отвечать перед богом, царем и отечеством, я же теперь, когда настало мое время, отвечаю за всех и беру на себя все.

Кроме того я анализирую весь мир.

Вчера я объявила, что няню ставлю в центр мироздания, беру под подозрение маму, все высшие меры применяю к Вере, а бабушку отпускаю на все четыре стороны, вследствие того, что она иностранка и неисправима.

Тетку Анну я заставляю учить меня всему, что только она знает.

О своих личных провинностях я позабочусь сама, и вообще мое мучение кончается.

Сейчас я твердо знаю, что я такая же была и в четыре года, только серьезнее. Сейчас не так страшно, и я немножко привыкла жить. В четыре года ни к чему еще не привыкаешь, в четыре года были у меня мрачные страсти и Дантовское представление о жизни, в особенности, когда болел живот или приходила бабушка. Вообще некоторые вещи внушали предчувствие такого ужаса или таких великолепий, каких, должно быть, не бывает; например: полосатый матрац, колодезь, где вода под землей, рябина осенью, нянин сундук; что касается слона и верблюда в зоологическом саду, это еще понятно. Они продолжают меня радостно ужасать так же, как весна в апреле.

Про мои четыре года я помню все; тогда началось то важное, что есть во мне теперь. Было так: огромный утюг воздвигнут на розовой скатерти, скатерть старая и внушает доверие; я смотрю со страхом на утюг, утвердившись на нянин сундуке, где самое защищенное в мире место. Утюг палит: страшные, серьезные мысли. До четырех лет человек по-настоящему серьезен. Утюг спалил подстилку, у подстилки ржавый, горячий вид. У Трифона был пожар у нас на Донской улице. Огонь палил бревна, потом стал выбрасывать языки. Кто-то сказал: Языки! Меня держали

на руках. Много угрожающих вещей: утюг, погреб. Языки огня. Пожар был похож на золотой иконостас у Ризположенья. Горел Трифон, нянин родственник, мастеровой, пьяница горький. Почему пьяницы горькие и студенты прогорелые казались мне блестящими персонажами и жуткими красавцами вроде цыган? Я их никогда не видала. Кроме того Трифон — это великомученик коричневого цвета в прозрачной ризе и с лампадой, и такими же мне казались все пьяницы, студенты и цыгане.

С веселым скрежетом рвут ситец, шьется что-то новое. Когда плохо, скучно и хочется плакать, можно подумать о чем-нибудь новом, которое всегда бывает непременно. Кроме того всегда непременно бывают время от времени елка, Пасха и лето.

С другой стороны — сколько совершенно преступлений, всегда нечистая совесть и я не могу и не буду просить прощения.

Проси прощения!

Летом я толкнула девочку на дорожке в саду и у нее выбился зуб. Кровь.

Я трепещу и, зажав нос в ладони, всхлипываю, сидя на сундуке. Я убила девочку. Проси прощения. Нет. Я преступна, несчастна на всю жизнь и еще «проси прощения»? Нет. Мне кажется, у кошки такое же преступное лицо, как у меня, кош-

ка — это сама нечистая совесть, я не люблю того, что на меня похоже.

Меня нельзя любить, значит не надо. Я убиваю девочек, я лазаю на комод по выдвинутым ящикам, у меня глянцевитый шрам на коленке, разодранной гвоздем, я наказание господне, со мной никто не захочет водиться.

— Няня, нос мокрый, — говорю я, рыдая на сундуке.

— Чего! Об чем раз'ехалась? — говорит няня, — кубики разложи.

Я слезаю боком с сундука, иду к своей кровати и, вцепившись руками в голубые шнурки кроватной решетки, бешено визжу от горя.

Кончаю первый длинный визг, на второй надо опять набраться вдоволь горя, я передыхаю, а няня шарит в ящике комода; прислушиваясь, я визжу потише.

— Вот посмотри на Верину картинку, — говорит няня и сует мне розовую картинку на кружевной бумаге. Я испускаю вздох и спрашиваю мрачно:

— Можно подержать?

Бабушка Женя подарила Вере эту вещь, сияющую недоступной красотой; она пахнет шоколадом, она нестерпимо поражает мое воображение, — и сколько бы у меня ни было потом в жизни розовых вещей, они не утолят того страстного рыдания о розовом в четыре года, вызванного этой чужой

картинкой. Это было недавно, Верно рождение, она хорошая, большая, ей подарили; я плакала от чувства отверженности и недоступности для меня счастья, а няня украла для меня картинку. Недоставало еще того, чтобы няня, мое единственное прибежище, теплая, большая, круглоголовая, в платке, совершала преступления.

— Она Верина,—говорю я, отталкивая нянину руку.

— Мне Прасковья дала тебе показать,—говорит нянька. Еще хуже, это ложь.

— Она Верина, ты гадкая, поганая,—говорю я.

— Ты с кого это взяла ругаться!—говорит нянька,—нешто тебя этому учат!

— Ты гадкая, поганая,—я выщипываю перышко из подушки, няня меня шлепает, я выставляю ногу для самозащиты и продолжаю вытаскивать пух.

Я слышу, как няня садится на скамеечку. Теперь она как теплая гора посреди ковра, а на ковре огромные цветы, и все это вместе образует прекрасную страну за моей спиной. Мне стоит только покориться, но я из гордости молчу и натягиваю кроватную решетку себе на лицо так, чтобы шнурком прижать нос, но так как нос очень мал, то шнурок с него соскальзывает.

— Тетя Катя напередни сказала: а у вас Надя становится хорошей девочкой; никакого хорошства я не вижу,—говорит няня.

Я ухмыляюсь внутренно, это редкий счастливый случай, это лестно и я тотчас же начинаю верить в свое будущее благополучие, но гордыня превозмогает все.

— Нет,—говорю я,—нет!

— Не нет, а гнед,—говорит няня,—жили-были братец Иванушка и сестрица Аленушка.

Не в силах преодолеть блаженства всего, что должно за этим последовать, я нагибаю голову, чтобы не видеть няниного лица и, оставившись руками в ковер, на четвереньках боком ползу к нянинному колену.

В страшно прозрачной воде видно как лежит на дне Иванушка, ужасно бледный и привлекательный. Горло болит от слез, дух замирает, ночью ждут страшные сны.

«Аленушка
Сестрица моя!
Тяжел камень.
Ко дну тянет.
Желты пески
На груди легли!..»

— Садись на суднышко,—говорит няня, а я кричу:

— Няня, прогони кухарку Аннушку, загороди меня,—и она продолжает бессовестно разговор с кухаркой Аннушкой, но становится ко мне широкой

спиной и я держусь за ее подол и от времени до времени натягиваю себе на голову ее рябую в кружочках ситцевую юбку, под которой бумазейная, красная.

У меня страшные сны от стыда, от горя, от нелюбви остались до сих пор.

Мама всю жизнь меня стеснялась. У меня в кодексе сказано: не принуждать родителей, чтобы они обязательно любили своих детей, это ерунда. Дело в том, что от меня ждали, чтобы я родилась мальчиком. Вере было десять лет, мама ее любила несправедливо, но я считала по совести, что так нужно и всегда ждала себе наказаний от судьбы за то, что я нелюбима. Мрачное время. Мое возрождение произошло в семь лет и затем я восстала против всего. Благословенно восстание.

Уже в девять лет на карточке у меня лицо озорной стриженной кошки и завоевательная улыбка до ушей. В девять лет я имела в своем доме прочное революционное имя, но в четыре года меня губили мрачная гордыня, беспутство и нераскаянность. Зачем им понадобился мальчик? Мальчики в 13 лет глубоко идиотичны и еще лет двадцать изживают этот прирожденный идиотизм. В набросках моего гражданского кодекса это отмечено всюду.

Из четырехлетнего помню еще вот что:

...Приближаются чужой ребенок и посторонняя нянька. Неужели они войдут в наш сад?

Под рябиной у калитки никогда не смят чужие. В палисаднике, где черная смородина, там сидела кухарки Аннушки дочь, портниха, там более поганое место; хотя у портнихи феерическая кудрявая наружность и она приносит невероятной красоты лоскутки.

Под рябиной у калитки начинается сад, где великолепие: пионы, железная беседка; в траве, скрытая мною от всех, вырастает в землю картинка от кубиков,—и еще неизвестно что произойдет в этой траве, смешанной с нарисованными девочками и розами.

Не смеют войти; очень хорошо. Няня идет к ним навстречу животом вперед, важная. Медлительный горделивый нянькин разговор у калитки. Я тихо отхожу к сырому краю дорожки и ступаю в наплыв мокрого песка: делается плоский отпечаток тупой маленькой ступни; я ступаю еще глубже, из песка выжалась чистая вода и натекла в туфлю. Это—я простудилась. Я вспоминаю противную девочку в гостях, которая не была подстрижена, как я, и говорила: «Мы гуляли, прислуга нас простудила». В этом крылась смутная низость.

Я иду, волоча поврежденную сыростью ногу, берусь за нянин фартук и говорю: «няня, я сама простудилась!»

Няня любит разговор с посторонними важными няньками и не слышит.

— Что вы говорите!—произносит посторонняя няня в ответ, и обе огромны, изысканы и довольны друг другом. Но моя нога страшно мокрая и я должна погибнуть.

— Няня, у меня нога промочилась,—говорю я, и няня произносит протяжно:—ах, ты господи, твоя воля!—как бы протестуя против воли господней и, взяв меня поперек туловища, несет на террасу.

Благородные поступки мне были по душе, но совершение их давалось с трудом.

Я отказывалась здороваться с теми, кто мне не нравился,—мне не нравился никто. Изнемогая от попреков, я делала что-нибудь несообразное с целью загладить свою нелюбезность, начинала толкать ногой обиженного или бодаться.

Улучшения не происходило. Я была застенчива, брезглива и главное меня сокрушала гордыня. Самое невозможное было, когда няня уходила на гулянье и со мной сидела Прасковья, бывшая Верина кормилица; я была утрюма и плакала, повторяя: «уйди, пожалуйста, уйди».

Она строила башню из кубиков и пела: «дон-дон-дон, загорелся кошкин дом». Неизвестно где это происходит, но впечатление тяжелое. Ясно, что кошкина судьба ужасна; была надежда на курицу: курица бежала с ведром, заливала кошкин дом, но в поведении ее было что-то неискреннее, ненадежное, всю эту кошкину катастрофу я постоянно ви-

дела во сне, и тяжелое впечатление осталось навсегда. Было гораздо лучше, когда меня оставляли одну на кухне с прачкой Василисой. Прачка Василиса была замечательная женщина, пьяница горькая и давала мне незабвенный черный хлеб с сахаром.

Позднее, в немецких книжках с картинками меньше было страшного, но больше скучного.

В среднем возрасте (от десяти до тринадцати лет) моя дореформенная жизнь отмечена ужасным явлением бездыханной скуки. Во всем мире был неподвижный воздух, толстые журналы и отвратительные девочки.

К этому времени я ниспровергла бабушку, причинявшую мне рези в желудке, болезнь страха. Она приходила учить меня немецкому и французскому, а я запиралась от нее в гардероб и сидела под мамиными платьями, дрожа и растирая себе живот холодными маленькими руками. У бабушки могучая и гневная вставная челюсть и черная кружевная накладка. Она дарила нам к Пасхе «мыльце умыть рыльце» и ее кожаная сумка пахла апельсином и яблоком.

Вера всегда страдала от наук, и бабушка, чтобы избавить ее от своего неудержимого гнева, нанимала нам от времени до времени немок. И сейчас

же она начинала ревновать, двигала челюстью и через неделю спрашивала маму: «Hoffentlich, ist die person schon rausgeschmissen?» (я надеюсь, эту особу уже вышвырнули). И особу вышвыривали к моему отчаянию. У немецких особ я училась резво и на летние уроки приносила сиреневые листья, прижимала их ко рту и, втянув, щелкала ими беспрерывно. Опять учила бабушка, и стоило мне надеть любимое платье, она спрашивала презрительно: «Weshalb so herausgedonnert, meine Enkelin?» (Почему так расфуфырилась?) и за мой мрачный бас называла меня Grobsack (грубиян).

И вот однажды она мне говорит:

— Как ты пишешь «priions»?—pruons—игрек.

— Нет, бабушка, Женя,—говорю я,—priions два i—croyons—игрек.

Знание истины вдохнуло в меня отвагу.

Она отвернулась брезгливо и повторила командно:

— Croyons игрек и «pruons» игрек. Переправь.

— Priions—два i, croyons—игрек, посмотри в «Lalive et Fleury»,—сказала я тихо и торжественно.

Она заглянула в грамматику и пожевала губами. Потом долго и тяжело на меня посмотрела. Она была справедлива и горда и громко признала мою правоту. С тех пор она глядела на меня с мрачным любопытством и в день моего рожденья величественно предсказала мне блестящую будущ-

ность. Я обрела в душе моей резвость, няня расцвела от горделивых чувств и велела мне показывать бабушке мои стихи, которые я с восьми лет писала. Тут я заметила в бабушке беспокойство за Веру и за ее ничтожество, и с этих пор вошли в моду разговоры о Вериной пикантности и о том, как она со всех сторон и для всех в мире приятна; и бабушка, открывая ей объятия, говорила: *Qu'elle est appetissante* и разглядывала ее, целуя.

К моим двенадцати годам мама у меня не смела пикнуть, бабушка была ниспровергнута и я стала говорить о Vere, что она из магазина готовых вещей. Я написала трактат о сестрах и к этому времени меня сдали в гимназию и я пожаловалась бабушке, что из меня хотят сделать готовую вещь, а маме сказала, что мы стоим с ней на разных берегах, что ей ко мне не переплыть, а я к ней плыть не стану. К этому времени у меня появился высокий стиль и я стала ценить себя необыкновенно. В то же время мне было совершенно ясно, что никто не ждет от меня добра.

В моем классе все были старше меня и было в этих девушках невыразимое неприличие. Косы их ползали по коричневым спинам и делали спины глянцевыми. Они опускали глаза и ежили плечи, отвечая свой учебный вздор, семнадцатилетние бабы, госпожи, как их выкликали с кафедры. Сначала я звала их бабами; потом при-

метила, что физика и космография вызывают их не «госпожа», а к-са и п-са такая-то, и тогда я хохотала и от хохота лезла под парту и сама стала всех их звать кса и пса.

Их обучали, как цирковых обезьян и они знали столько же. Я отвечала уроки «на скорость», «на медленность», «на унылость», иногда «на икоту», и тому подобное, но с 6-го класса это прекратила, потому что класс хохотал, потел от хохота и делался ужасный воздух.

— Бабы,—говорила я,—вы не имеете никакого стиля, хотя бы вы мылись в мою пользу.

Они говорили:

— Развлекай нас ради бога хоть на географии, а то мы подохнем.

— Нет, ксы и псы,—говорила я,—пора мне подумать о широких реформах. Я теперь читаю философию, а вы все тем временем так толстеете, что мне противно.

За философию они стали звать меня «филя».— Это был такой ленивый, бездарный, нечистоплотный сброд.

В ранней молодости характер был у меня раздражительный и буйный и вот однажды, когда мне было лет восемь, я сказала Вере в состоянии ярости:

— Если бы ты умерла!—и няня это слышала и пошла за мной по лестнице в мою комнату, куда я бежала как Каин, и смотрела на меня со слезами ужаса в чистых своих и мудрых нянинных глазах. Я положила себе подушки на голову, но слышала все, что она произнесла.

— Такое слово сказать это все равно что убить человека, ты хоть бы Каина вспомнила, если людей не боишься, Каины так говорят, а не люди.

И ушла.

В результате я стала есть постное и на исповеди стояла в очереди, холодея и умирая. Я вошла по ковровым ступенькам к священнику, похожему на старого Христа и, нагнув голову, не слушая его вопросов, ответила трижды: «грешна, батюшка». И потом, задыхаясь и оледенев, в ужасе произнесла: «Я сказала своей сестре: если бы ты умерла», и не слышала, что было дальше. Он покрестил мою маковку и я, спотыкаясь, сбежала прочь. Этого я не забуду.

Я 12-ти лет взяла манеру вмешиваться во все господни дела и сопротивляться насилию его властей и всегда помнила тот случай. Во время войны наши с ним отношения стали невозможными, тем более, что я читала Дарвина, и тут бога наконец ниспровергла и очень этим прославилась.

Это стоило мне бессонной ночи: целую ночь я отвязывалась от него; мне было трудно: размы-

шляя, я водила рукой по стене, сваливалась с постели, пока наконец не уперлась головой в коврик, потом вылезла из постели совсем, как жук из личинки. Это была большая возня, но к утру я была свободна.

Этой весной я сказала маме, что иду к исповеди в последний раз, на увещания священника в присутствии всех икон сказала:

— Ну, это глупости.

У меня сделалось восторженное сердцебиение, и так я покончила с своей совестью.

В это время была у меня презрительная улыбка и красный нос и я считала себя «хладнокровным англичанином». Оттого, что я обнаруживала разнообразные способности, была забавна, и не верила в бога, меня считали почти взрослой, и я стала легкомысленна и хвастлива и опять постоянно оскорбляла людей.

Был у меня один очень несчастливый день. Пришла в гости знакомая дама в шляпе и перчатках. Мама доваривала варенье в саду, а тетка Анна сидела с нами, но косилась в книжку, от которой не могла оторваться. Я занимала знакомую даму, делая характеристики всего в мире и между прочим сказала, о Вере: она будет не очень глупа, светская, но ничего особенного, вроде вас, например.

Тут мне сильно не повезло.

— Да, может быть. Не совсем, но может быть,— отвечает дама растерянно, дама на 20 лет меня старше, вынеся все, что мне заблагорассудилось произнести о себе, о ней, о мире, о всех науках, о разных странах, о гениях, о боге.

— Надя, ну до чего ты груба!—говорит тетка, пробудившись от книги. А я отвечаю:—я не могу быть груба, я говорю спокойно, и когда я говорю, я касаюсь сущности.

— Ну одним словом, ты одна умна,—говорит тетка и начинает есть варенье.

— Да, к сожалению,—говорю я вежливым голосом англичанина,—от этого только мне плохо.

— Главное, нельзя даже сказать, что ты сумасшедшая,—говорит тетка.

— Нет, наоборот, это интересный случай,—говорю я, и тетка уводит от меня даму и говорит, уходя:

— Сегодня мама узнает о том, что ты говоришь про Пушкина.

Действительно, появляется мама.

С гневным длинным белокурым лицом, беспомощным, потому что оно не в силах выразить всей ее ярости, она произносит:

— Правда, что ты сказал: «Пушкин дурак»?

— Совершенно верно,—ответила я.

— Ну, знаешь что,—сказала она страшным шопотом и отошла к окну.

Я не глядела на нее из гордости, но чувствовала, что нечто происходит назидательное. Лист старого фикуса, пыльный, загнулся ей на плечо, ее плечо дрожит. Она горько рыдала.

От этого Пушкина и мамы у меня сделалась страшная тоска и я в наказание себе ходила по большому асфальту над Пречистенским бульваром—необыкновенно одинокое место, где я собирала мысли и где ни в чем не находила себе сочувствия.

Вечером я мирилась с мамой, она обнадежилась на мой счет и сказала:

— Зачем только ты так хвастаешься?

— Мама, какая ты ужасная,—сказала я,—ты всегда хочешь всего обыкновенного. Между тем хвастаться это справедливо и возвышенно.

Но так как к вечеру я уже изнемогла от своих собственных безумств и видела, что мама опять готова от меня отворотиться, я стала говорить дрожащим голосом о том, что ведь она же сама меня родила и зачем же она так много истратила на меня всего, что я постоянно разрываюсь изнутри: кто вас просил о подобных щедротах? Что я не виновата, что мне все кажется незамечательным, что ихняя вся жизнь ерунда и скука, война—ерунда, бог—ерунда, хотя мне страшно трудно без него обходиться, когда я плачу,—что я сейчасиду плакать без бога и без всех вас, и заперлась у

себя в комнате и рыдала долго и давилась, чтоб не сказать «боже мой», и так уснула, никого к себе не впустив.

Апрель 1919 года.

Не могу же я пойти к самому Ленину и спрашивать: дорогой товарищ, объясните мне все окончательно. А кому я могу довериться, будучи плохого происхождения и с малых лет не доверяя людям. Я нахожу, что большинство людей ниже этих событий, и остаюсь в стороне и занимаюсь строительством в тесном масштабе.

Бабушка со мной посоветовалась и уехала за границу, мама в порядке. Однажды смотрю на Веру и думаю: чего-то я в этой девице не доглядела? Загибаю голову направо и налево, потом говорю: «Что это, мне кажется, будто бы на вас корсет». Она покраснела вся и говорит аристократическим голосом:

— Не смотри на меня, а то сглазишь и я не буду такая хорошенькая.

От этих слов я стала зевать и сказала:

— Есть в тебе что-то нижеследующее.

Она прослезилась и спросила сухо:

— Повтори, что ты сказала?

— Что-то есть в тебе нижеследующее—говорю.

И она пошла к маме, рыдала и жаловалась ей, что я стала ругаться площадными словами.

Возвращаюсь к последним моим воспоминаниям.

К концу моей дореформенной жизни я совершенно захирела, попыталась влюбиться в седого красавца, но мимолетно, так как это было в трамвае. Толстые журналы меня умерщвляли, как персидский порошок жизнерадостное насекомое. Я стала думать, зевая, о какой либо карьере, но ничей пример меня не радовал.

В это время случилось мне познать истину через стихи Пушкина на уроке рисования: старшая сестра, выйдя замуж, писала младшей, в прекрасных стихах повествуя об этом происшествии. Усвоив содержание первых трёх страниц я сунула рукопись в парту и с красным угрюмым лицом сидела недвижно. Потом вынула рукопись и дрожащими от бешенства руками разодрала ее на четверо.

— Знаете, я прочла сегодня совершенно неприличную вещь, мне это в голову не приходило,—сказала я за чаем Веринуму репетитору; этот человек всегда разговаривал со мной серьезно.

— Гимназистки бог знает что читают,—сказал он.

— Меня они могли бы оставить в покое,—сказала я,—но дело в том, что вообще все это неприемлемо.

— Да, это не бог весть как умно и возвышенно,—сказал репетитор, и я страшно задумалась.

— Парадоксально. Главное — парадоксально, — сказала я, — дайте мне вишневого варенья, по крайней мере я буду выплевывать косточки. Мне необходимо плевать.

Потом время было ужасное и незаметное, потому что умирала моя няня. Рано утром она пришла в мою комнату, подобрала занавески и стала мыть пол. Оттого что она меня разбудила, я сказала грубо — «Вот понадобится!»; а она ответила: «спи». И я задремала, слыша шлепанье мокрой тряпки. Зимний рассвет лежал на ее темени, на согнутой движущейся спине и дорогие ее темные руки мыли в последний раз пол, по которому пройду я, ее «выкормыш». И вымывши пол, она собрала свои вещи и пошла в больницу, где стала ждать смерти. И мама все это знала и не сказала никому.

Вместо времени, дней, февраля, я слышала только свой ужас и то, что надвигается невыносимое, неслыханное, расшибающее, страшное чудо, это чудо — что няня может не быть со мной.

У себя по ночам я стукалась коленками в землю и кричала вверх:

«Не смей! Не смей! Не смей! Ну убей меня, а ее не трогай. Ну убей!».

И снова был надо мной бог, как что-то пресное, твердое, как огромная плотнотелая просфора, которой подавилось небо над Москвой.

Я думала о том странном своем снисхождении к няне, о моей с нею грубости раньше, в 10 лет больше всего, искала в себе этих унижающих ее чувств и находила только одно: припадаю к ее смертной постели и смотрю рыдающими кричащими глазами с мольбой на последние ее, последние суровые вздохи во сне. Рот у меня зажат и нет слов давно.

В больнице она лежала и терпела, жалея жизнь. Терпением медлительным простых людей был полон этот воздух.

Я доносила молчание до своего порога; отпирая дверь французским ключом, дрожала, гримасничала, оскаливалась, чтобы еще секунду удержаться и, захлопнув за собой дверь, из передней кидалась к себе и падала на пороге и кричала и ползала по ковру, рыдая.

Я не могла этого вынести. «Не могу! Невозможно. Нельзя. Так нельзя. Нянечка!»— кричала я,—и кричала, кричала.

И вынесла.

В зеленом и красном шуме
Встает июльский лес.
Не помню сегодня, кто умер,
Но знаю, кто воскрес.
Кругом твердят о чорте,
Во всем его власть видна.
А мама сказала: не спорьте,
Теперь не те времена.

Зачем улыбаться криво?
Давно времена не те,
Давно уж смертельно тоскливо
Мне что-нибудь знать о Христе.
Сказала бы няня: рассудят
Без нас—кто хорош, кто нет;—
С тобой вот что дальше-то будет,
С такою в тринадцать лет!—

Настала осень. Я смотрела с высокой крыши и слушала пулеметы, и меня прогнали, потому что кто-то в меня прицелился с чердака. Сверху город был глух и сер, как логовище туч, и в нем работала машина революции.

— Ну, учите меня географии что ль, истории, чемунибудь!

Тетка Анна стояла коленками на стуле и думала. Тут она легла животом на стол, раздавила локтями все мои тетради и, засунув руки в волосы на лбу, зарыдала.

— Нет больше никакой истории и никакой географии,—сказала она и стала пронзительно стонать; у нее распустился узел волос, отвязалась приставная коса и она, стелая, ею утиралась.

Я грубо промычала и заметила:

— Вот ненавижу когда ревет.

Моя грубость ее всегда освежала. Она последний раз утерлась своей косой, положила ее в ри-

дикюль и, зажав свой веселый нос между пальцев, смотрела на меня легкомысленными и гневными глазами.

— Главное в жизни—хладнокровие,—сказала я.

— Все вы капитаны Гаттерасы,—сказала тетя Анна,—давай алгебру.

У нее была очень красивая фигура, как у шахматного ферзя, и она одевалась не по моде, а с выточками и воротничком. И она стала скороговоркой, тыкая карандашом в мою тетрадь, объяснять мне.

— Это я знаю. Давно,—сказала я.

— Ты всегда была нахалкой, воображаю, что будет при большевиках,—сказала она с деланным спокойствием. Мне понравилось деланное спокойствие и я так же ответила:

— Разве большевики—это нахальство? Не знала. Она с озабоченным лицом спросила:

— Ты с какого года в бога не поверила?

— С двенадцати,—сказала я, бурно торжествуя; тетка поговорила с мамой, и они стали смотреть на меня как на знамение времени.

Была попытка меня низвергнуть. К Вере пришла подруга и стала говорить о большевиках, что они бывают только природные, а впоследствии ими сделаться невозможно. Материализм должен быть в характере человека, и кто таким не уродился,

а про себя это говорит, тот притворяется для хвастовства и чтобы всех оскорбить.

Я ответила неудачно.

— В ранней молодости,—говорю,—читала я «Красного морского разбойника». И вот это был мой герой, а большевики тоже самое.

— С этим не спорю,—сказала подруга, шмыгнув носом в знак остроумия, и обе они засмеялись.

— Просто вам завидно, что пришло мое время, а ваше ушло,—сказала я, и они промолчали, но всех нас взяла дрожь.

— В общем они свиньи,—сказала подруга, побледнев,—все ограбили, все испортили, все сделалось противное.

— Это какая тебе сволочь сказала? —спросила я басом, и они задрожали еще больше.

— Не сволочь, а мама,—сказала подруга со слезами, и мы юбе поднялись с мест,—а вот кто говорит как ты, тот действительно сволочь.

Я сделала прямую спину и показала ей на дверь:

— Уйди из моего дома,—сказала я.

Одеваясь в передней, она об'яснила сестре, что я в юбщем дура, и Вера, вернувшись, сказала мне:

— Теперь ты сошла с ума по-настоящему.

— Молчи, контр-революция,—сказала я,—позор всякому, кто не сошел с ума в наше великое время.

В общем мы голодали страшно весело. От голода я выучилась курить и делала такие представления: в хорошие дни мне приносили узкую полоску черного хлеба, соринку сахара и одну папиросу самого страшного сорта,— все это лежало передо мной на столе. Все обожали смотреть, как я ем подобные вещи и становились вокруг меня. Я перекидываю ногу за ногу, улыбаюсь восторженно и говорю: — картофельный очисток пленительная вещь, но единственно, что порождает экстаз — это пресвятой и преблаженный черный хлеб, а от великого белого сахара рождаются рифмы. Что касается папиросы «Кир», она заключает в себе ароматы пожара, стойла, гниющих трав и религии. — После этого, лукаво сощурилась и весело всхрипывая, я кусала хлеб и курила в прикуску с сахаром. Руки дрожали, в мыслях плыл туман, хотелось плакать и было безумно весело.

Труднее всего было видеть ярость и печаль взрослых и их погибание. Я стала думать о том, чтобы меньше раздражаться и внушала себе немилосердное терпение. Подумайте, когда умрут старые люди в потертых роскошах на шее и со своими шляпами из барашка, сшитыми сорок лет назад,— не останется настоящей памяти о том, что оплакивается злобно по углам. Этот плач ненавижу.

Вера стала худая, и мама заболела от страха за нее и была в беспамятстве. Я ниспровергала в себе жалость к этому исчадию империализма, но ужасный вид был у этой престарелой гражданки; когда она выздоровела, я принялась за ее воспитание.

Если бы она была большого роста, было бы несравненно труднее, кроме того у нее несомненный голос, и она пыталась не раз предаться трудовой жизни и умела делать массаж.

Я смирила свою раздражительность, была кротка, и мама перестала вздрагивать и настораживаться, так как я сменила свой раскатистый баритон на девический благозвучающий альт. В молодости, до 13-и лет я ее терроризировала и это портило ее морально. Постепенно я стала превозносить ее достоинства, похвалила ее за массаж, вспомнила некоторые ее подвиги, и мама сильно выросла в своих глазах. Видя во мне олицетворение новой действительности, она стала тихо с ней примиряться и в результате занялась переводом с немецкого под моим руководством.

Все это меня волновало и мучило, кроме того я устала от страшной сдержанности. Я стала воображать себе ужасные и прекрасные раздирающие сердце истории: няня возле меня; я лежу на тротуаре с простреленной грудью и не велю няне никого винить. Что я перед великим временем?

Кроме того я стала писать отрывистый дневник и откровенные письма к товарищу редактору, который был моей чистой выдумкой. Я писала ему неотчетливые стихи, но сердце мое надрывалось.

Крепки ли ваш серп и молот?
А ежели наоборот,
Что делать тому, кто молод,
В ком мыслей невпроворот?
В ком вашего дела слепок
Заложен от малых лет,
Кто хочет быть так же крепок—
Мне жизни нужней ответ.
О чем буржуазным детям
Не скажет родная мать—
Товарищ редактор, ведь этим
Нельзя же пренебрегать!

И дальше я писала: научите меня всему: что тактика, что политика, что делается пока для проволочки времени и что нужно навеки! Вы мне скажите: это вот для страха, это вот пыль в глаза кому следует, это — чтобы все дураки поняли, а это вот — остратка для умных чересчур. Я все приму, потому что я от всего этого в восторге и не будь вас, я кончалась бы медленно и страшно, и медленно и страшно кончалась бы молодость земли. Я знаю, что московский камень-кирпич и камень-булыжник и даже вся московская пыль и земля до подземной Неглинки вас принимает. Но у вас столько наыворот, это чудно, что навы-

ворот, но от этого слабнут старики и, чтобы видеть это, нужно мужество.

Потом я достала свой старый трактат о ниспровержении семьи, он начинался так: — могу главным образом писать о сестрах. Родственное сходство отвратительная вещь, от привычки друг к другу все делается несправедливыми: предпочитать свою сестру всякой другой — почему? Необыкновенный вздор. С другой стороны, если ты пророк для всех, то для сестры, для мамы и для всех тетей—это три копейки, никто не поверит. Об этом, впрочем, уже писали, а я не хочу тратить чернило (или чернила)... — тут перерыв.

Прочитав, я страдала: это было невыразительно — и стала делать коллекцию отрадных явлений современности и записывать:

1) В Москве родилась бездна котят.

2) Топольи цветут, точно кровь идет с неба; Садовая улица хороша так, что...

Ох! По-моему я, например, безумно отрадное явление.

Всем этим я осталась недовольна и решила, что уж лучше я возьмусь за дело и зашила собачьим швом все мои дореформенные чулки.

Я вернулась к литературе, когда Шведе сделал мне предложение. Я озадачилась и решила заняться законодательством: написала параграф насчет обязательных разводов и так этим разогрелась, что

с тех пор посвятила законодательству свою жизнь и не выйду замуж до тех пор, пока не составлю кодекс.

Между тем мама все болела, и вот я записываю в кодекс: чтобы никто не знал своих родителей, перетасовать всех новорожденных, чтобы все не помнили родства, а то я свою маму знаю, имею к ней чувства, должна осуждать свое происхождение и если бы не замечательный мой характер, была бы несчастна на всю жизнь.

Товарищ, я кинусь в реку
Или на стенку полезу.
Дайте мне человека—
Мне надобно до зарезу!—

Был со мной отвратительный случай. Я пошла с Шведе в Нескучный сад. Во-первых без него меня бы не пропустили, отчасти, впрочем, я пошла из тщеславия и хотела послушать, как он будет говорить о любви. У меня мужская выправка, хотя это противоречит моему сложению. Позади дальнего пруда на скамейке это началось.

— Нет, с этим вы пойдите к чорту,— сказала я, и от бешенства у меня заломило позади ушей. Но он был ужасен, и я ударила его кулаком по щеке, по зубам, по голове, расцарапала ему шею, схватила ветку с земли и била его по лицу, я от-

топтала ему ногу в желтом башмаке и оплевала ему нос и пенснэ.

— Дура. Немка. Немецкая кровь! — сказал он, отираясь со слезами оскорбления.

А я ему ответила, что он не коммунист, а грязная рвань, и зарыдала.

Тогда он осторожно ушел.

Няни не было окончательно. Поэтому я решила пойти к маме, несмотря на то, что всю жизнь портила с ней отношения. Но в ней были проблески разума и что-то в общем честное. Прошу прощения, — в моей матери было огромное чувство чести, чего всем вам желаю. Все ее дарования погибли, но не безвозвратно, и она понимала очарование жизни.

Я принесла к ней в комнату чай и сказала, что желаю его пить здесь. Она сказала.

— Сделайте одолжение.

Она штопала чулки.

Я похвалила ее цвет лица и, задыхаясь, принялась рассказывать о приключении в Нескучном, и вдруг на меня сошла буря. Я залегла на ее постель и громко рыдала, умирая от стыда, что не могу перед ней удержаться. Она молчала и штопала, ей хотелось меня остановить, но не хватало на это смелости. Чувствуя, как я ее стесняю,

и очень довольная ее скромным молчанием, я села на ее постель и весело кончала свои рыдания.

— Ты застенчивая женщина, — сказала я, еще захлебываясь от слез, — но в тебе есть здоровые основы, и современность это оценит; не ругай меня, если я еще поваляюсь, я постель оправлю.

Она успокоилась, видя, что больше ничего особенного не предстоит и сказала:

— Меня вообще беспокоит Вера.

Это был знак доверия, я счастливо вздохнула и сказала:

— Ну, с Верой можно справиться, это низшая форма контр-революции.

Мама слегка повела головой.

— Ты что? — говорю я.

Она отвечает:

— Право, это у тебя род помешательства.

— Да, — говорю, — очень трудно не сойти с ума, но я на себя надеюсь.

И допила свой чай и спокойно покинула эту территорию.

Однажды я записала в своем дневнике:

— «Берусь переделывать людей на любой образец. Я достигла того, что в доме своем я вроде пророка и вне дома берусь за то же, но только дело пророков могу вести не оптом, а в розницу».

В эти дни я набралась сил и думала: хватит на все.

Сказала я хоть слово о милосердии? Кто был ко мне милосердным? Няня. И она умерла немилосердно. Припомни утро, когда она мыла пол перед тем как идти на смерть и ты гнала ее. Припомни себя, когда ты кричала: «Спаси ее! не могу!» и было поздно.

И вдруг я надорвалась из-за пустяка.

Они собрались все в цветущем состоянии за чайным столом: мама, Вера, тетка-Анна, двое дядей и я.

Они наслаждались и много шутили.

Потом стали рассказывать анекдоты. Я попросила анекдот в пользу современности. Такого не оказалось. Я должно быть устала, и от мысли о том, что есть анекдоты только против современности, я похолодела от злобы и близких слёз.

Я откашлялась и спросила, неужели же все, что сделано для людей, все, чего так смертельно жаждали, что так кроваво выстрадали современные, неужели это не заслуживает даже хорошего анекдота? И неужели вы — потому что именно вы создатели анекдотов, неужели вы этим немногим доступным для вас — хорошим анекдотом — не смогли отплатить современности?

Ведь речь шла всего только об анекдоте. Они переглянулись.

— Отплатить?! — сказал кто-то, и все замерли.

— Тот, кто хочет хорошего, — сказала я дрожащим детским, позорным голосом: — разве он не стоит этого?

— Хорошего? — сказали все крякающим хором и тут поднялся хохот. Как они хохотали! А мама не смотрела на меня, но улыбалась, как добродушный чувствительный Иуда.

И потихоньку от меня они дали мне кличку: современный анекдот.

И вот из-за этого я была душевно больна несколько дней, ходила в цирк и смотрела в кино крашеную картину, что для меня равносильно временному самоубийству.

И вот что я скажу: во всем этом не вижу своей вины, никакой. Но кто виноват в том, что хорошее принимается за дурное, тогда как даже вещам среднего достоинства можно придать очарование?

Я прошу ответить, прошу помощи. Или я погибла. В эти дни я дошла до большого безобразия.

Когда Вера вечером вернулась домой от дядей, она посмела в передней насмешливо меня задеть. Я взяла плетель и пошла к ней в комнату. И я сказала:

— Ты говорила маме, что я площадными словами тебя ругаю, и тогда это было шуткой и твоим

идиотством. А теперь я тебе говорю: лучше всего тебе стать беспартийной проституткой с гигиеническим уклоном. Это раз.

И Вера закричала:

— Молчи ты, современный анекдот!

Но я продолжала:

— Слушай, что я тебе скажу и всем подобным тебе: когда собака задавит цыпленка — мертвого цыпленка держат у ее носа и бьют ее, а это не мертвый цыпленок, это моя живая страна, от которой ты и подобные тебе рвете куски ядовитыми зубами бешеной собаки. И вот так ее бьют.

Я подняла плетль, а она страшно закричала, задрожала и стала толкать меня ногами.

— Не кричи,— говорю,— я не ударила, не кричи.

И она прошептала: — Я тебя проклинаяю,— лицо ее дрожало, и на лице, рыдая, ползал рот и, рыдая, улыбался. Она не могла уже говорить, но ее жалкие девичьи кулаки ерзали по ее голове, сдвигая волосы на лоб, в глазах была тоска, ужас, зверство. И тут только я поняла до чего ненавидела она современность и уже не могла ее бить и страшно испугалась.

Наконец она собралась с силами и сказала:

— Я плюю на вас всех (т. е. современных) и я плюю на тебя, о! до чего ты подлая!

И я залилась слезами и спросила ее: «Я подлая?! повтори, что я подлая!» — и стала трясти ее за пле-

чи и кричать: «смотри мне в лицо и скажи еще раз, что я подлая, посмей! посмей сказать еще раз!» \

И вдруг мама постучалась в дверь и сказала довольным голосом:

— Вера, Надя, гости! Идите скорей в гостиную. Мы помолчали.

— Какиенибудь особенные? — спросила Вера. И мама ответила:

— Даже очень.

Когда Михаил Ульрих, сторбив огромные плечи, бледный и бритый рыцарь печального образа, устремил на меня недвижный и черный взгляд, сердце мое грянулось о землю и не встало.

Тут с моим дневником происходят странные вещи.

Август 20-го года.

Гений мой! демон мой! бог мой!

Ад и солнце жизни моей!

Сегодня он опять пил чай у нас в столовой. Один презренный сказал: — Я знаю, как ангелы пьют чай, — и скосил глаза невозможно. А я знаю теперь, что ангелы и прекрасные демоны всегда ходили по земле и были живыми людьми и знаю, что значит: король, бог и тому подобное. И я вчера написала материалистический трактат о происхождении религии. У него путей сообщения сюртук и брови, как крыша мира. У меня делается

сладкий космический озноб при виде его головы и профиля и я теряю отчасти свою рационалистическую точку, потому что, когда плывешь в грозном море и волна бьет в сердце и несет его в страшную высь и роняет в пропасть, то слышишь только грохот этого сердца и какой уж тут рационализм.

Красносмородинное варенье стало священным и самовар горит, как медная гора, за канфоркой стоят его глаза и канфорка превращается в миф. И мне хотелось бы стать Юпитером со всеми метаморфозами или невидимкой, чтобы узнать все, что он думает и каков он наедине.

Я молюсь его калошам, пишу стихи все непонятнее. Потом вдруг одолели меня цыганские романсы и в них — огонь непредвиденных истин.

Я спросила, коммунист ли он, и мама стукнула по столу чайником и угрожающе потрясла на меня головой с писком в горле, а он так страшно глянул, что я решила, что он коммунист какой-нибудь мировой и невероятный и ощутила в себе что-то небывалое и отметила это в дневнике словом: сладострастный ужас. Я пишу все это теперь, когда он в Петрограде, — чтобы ничего не забыть, а в дневнике у меня масса ужасных слов и ничего как следует не рассказано.

После сладострастного ужаса в дневнике стрит: Ульрих Михаил Вождь Мировой Революции.

Один раз я смутилась.

О ком это он сказал?

— Это дети России, — сказал он. И я испугалась донельзя и спросила:

— Какой России? Какой это России!?

Но мама закашлялась, завозилась и что-то торопливо рассказала. И я решила не впадать в пустой фанатизм из-за терминологии, но в дневнике об этом писать не захотела.

С тех пор где только слышу трубную музыку — там я иду по улице за музыкой вслед, и медь ревет, разрывая мне сердце, медь ревет о его грядущих подвигах и медный мир ревет, провожая в могилу М. У., Вождя Мир. Рев., так я грежу, терзая себя невозможным восторгом и ужас проходит по всем волоскам на плечах и затылке.

Должно быть я сошла с ума по-настоящему и ничего не слышала и не замечала. Ульрих стал у нас обедать каждый день, а в другие часы я не могла усидеть дома, брала как можно больше работы у секретаря Шведе и массу времени проводила у нас в погребе во дворе, где был холодный ужасающий запах старых боченков, разных капуст, плесени, запах трагедий, ада и необузданных страстей. Там я грезила, сочиняя историю ужасной любви моей и Ульриха-коммуниста, а с Верой в комнатах говорила о нем насмешливо и уничижительно, называла его наружность вегетарианскою

и вне себя от вздора и восторгов звала его кличкой — Михаил Вышереченный.

Вера у нас всегда была влюблена во всех интересных, она наслаждалась этим насмешливым разговором и по своему паразитизму потом повторяла все мои словечки об Ульрихе при маме, как бы считая их все равно что своими. За столом она ни на что не решалась, но за то была конфузлива и пикантна, что впрочем давным давно известно решительно всем.

И она, и моя невинная мать поздно оценили опасность и только впоследствии отдались всем ужасам создавшегося положения. Они полагали, что только коммунист Шведе из глубины своего цинизма в мои четырнадцать лет мог видеть во мне женщину, и за столом мама нагло обо мне распространялась, говоря: «Надя у нас такая и вот какая», — как говорят о двухмесячных.

Меж тем она испытывала его терпение своим упорным присутствием, так как он, по-моему, тоже влюбился в меня сразу и никогда не встречался со мной наедине, а все при маме, и мама с расстановкой и достоинством говорила на интеллигентские темы и двигала чашками, салфетками, постукивала всем, чем возможно, и была светской, как призрак прошлого, резво и убежденно восстающий из гроба; вследствие чего однажды Вышереченный и Благовоспитанный Ульрих нечаянно и

бегло зевнул, а я сказала: «Как это вы можете так «доверчиво зевать в моем присутствии».

Мама, нахмурившись, смеялась, а мрачные глаза его засияли огненным любопытством.

На другое утро в погребе я вообразила себе всю нашу жизнь с ним: он обожал все мои безобразия, я позволяла себе все решительно, и мы вечно, вечно бесновались.

— Дорогие родители! Дайте мне вашего империалистического супа, но по возможности без морковок,— говорю я, обливая стол взором, блистающим молнией влюбленного детства — и продолжаю:

— Здесь на краю вулкана гнилая интеллигенция с дореформенным унынием пьет свой чай, не внемля буре.

— Что это — вулкан? — говорит Ульрих глухо, — где это?

— Здесь. Это я, — отвечала я. — Вы дремлете на моем краю в наше ураганное время, полагая себя в безопасности. Горе унылым и дремотным.

— Возле вас я не полагаю себя в безопасности, — сказал Ульрих, и глазами, подобными двум черным безднам, тяжело на меня повел. Это был тихий, но глубокий скандал при совершенно ясном небе, вроде непредсказанного затмения солнца; я содрогнулась веселым безумием, ударила кулаком по столу и сказала:

— Не замечаю!

Мама простонала про себя слова предостережений, но не разомкнула бледных уст. Веры не было.

Я встала и вышла, горя сокрушающим вызовом и тут же сделала огромный росчерк в своем дневнике. Теперь я писала дневник, как какой-нибудь Людовик шестнадцатый, отмечавший только добычу охот.

16-го. Ничего.

17-го. Ничего.

20-го. Пришила пуговицу герою Ульриху фон-Доннерветтер-Ротер-Тейфель-Даммеру.

24-го. Ничего.

25-го. Росчерк. Закорючка. Огромный росчерк.

27-го. Вздохи, подобные апокалиптическому сирокко. Вера ходит красная. Конфузится без всякой совести.

28-го. Мама стонет подземно. Я — никакого внимания.

30-го. Люблю.

31-го. Я смерч губительный, я смерч, я смерч. Нуждаюсь в платье из шотландской материи. Не малейших ресурсов. Обожаю Харт-Барт-Ульриха-Бергесгимпфеля — героя гор, морей, Сатурна и земли. Безумно!

Вера видна на далеком горизонте у самого заката, на ней новая кофточка.

В дневнике не записано, но я помню такой разговор; слышу из погребца, потому что около погребца повесили гамак, — сентябрь становился все жарче. Слышу, Вера всхлипнула, а мама, погодя, говорит:

— Ты можешь считать его своим, с Надей у них ничего не будет, у нее невозможный характер и по многим другим причинам, когда-нибудь я тебе об этом расскажу.

Потом на Верино бормотанье и всхлипыванье мама опять говорит:

— А я тебе говорю, он страшно к нам всем привязан и когда все это кончится, он вернется и тогда увидишь. — Вера стала сморкаться громко, а мама еще раз повторила:

— Я тебе говорю. Вот увидишь.

Ужас, сколько она знала всего, эта мама.

3-го числа. Боже, он любит лук. Думаю, что он глубокий коммунист, отсюда страсть к луку. Иначе е могу ни понять, ни простить.

Потом было вот что:

— Если я вам нравлюсь, откажитесь от этих луков, это первое, — сказала я при маме. А она вдруг говорит:

— Надя, что ты пристаешь к нему?

Тут я не нашлась что сказать и страшно побледнела. Но он спас меня, спросив немедленно:

— А второе что?

Но сердце мое лежало раздавленное под ковром, истекая слезами оскорбления. Мне хотелось сказать ей:— «Мама, зачем ты такая дура?» — а ему что-нибудь еще кровожаднее, но у меня только дрожали губы, ломило в горле и слезы лились в тарелку. И вдруг он толкает ногой мой башмак под столом и смотрит в мои плачущие бешеные глаза так грозно и пламенно, что я, всхлипывая, давясь горем и страхом, скольжу со стула и сажусь под стол. И тут под столом я бью его кулаком по колену, а он, поймав мою бьющую руку, сжимает ее в своей.

— Вылезай сейчас же, — говорит мама дрожащим слабым голосом и кашляет от злости; тут я тихо засмеялась, царапнула руку Ульриха и, осторожно вылезая, спросила ее из-под скатерти:

— А что у тебя на второе — вареная лошадь или жареная? (ибо мы питаемся кониной).

— Вареная, — сказала мама.

— Ну, на вареную я согласна, — говорю я, — и прощаю тебя на этот раз.

Но с мамы было уже достаточно, и она с своей стороны тоже ушла плакать к себе в комнату, но тотчас, как следует не поплакавши и торопливо сморкаясь, вернулась к нам, так как эти приклю-

чения мои за столом внушали ей смертельный ужас.

За него трепетали три тетки; мать его была просто сумасшедшей при царе и после революции впала в буйное умоисступление, он ее обожал.

Эти тетки писали маме поочередно и просили женить его на одной из ее прелестных дочерей (то есть на мне или на Вере), пока не случилось чего-то самого ужасного и чтобы отвлечь его мысли от болезни сумасшедшей матери и главное от этого самого ужасного. Поэтому Ульрих, мама и Вера втроем ходили в кинематограф, в студию на Советской площади, а раз мы все вместе поехали в Кунцево в старом четырехместном ландо. Им не удалось уехать без меня, потому что это ландо достала я по знакомству, и оно было реквизированное вместе с кучером и всей старой ватой, которой он был набит.

Это было такое старинное зрелище! Но дорога, разбитая революцией, швыряла наше вместилище, головы наши болтались, мы стукались друг о друга, вдобавок нас везла пара разнокалиберных лошадей на стоптанных мозолистых ногах, и я говорила, что эти с'едобные животные внушают мне каннибальские инстинкты, и что кучер мне также начинает казаться с'едобным.

В общем я была исполнена жестокой ревности, и мне было ясно, что все это общество поймано

мною в ловушку. Тем не менее Вера в своем трагическом чистосердечии снисходительно и доверчиво озирала подмосковные местности, мечтая, что она цесаревна в большой соломенной шляпе, и была действительно похожа на дочь русского царя, миленькую и худосочную немку.

И вот мы шли по Кунцевской аллее, и день холодел от силы моего счастья. Мама понимала, что происходит со мной, поравнялась со мной и сказала:

— Разве ты не видишь, что он ухаживает за Верой?

У меня была тросточка, и я дотронулась тросточкой до его плеча и говорю:

— Это правда, что вы ухаживаете за Верой?— и он тотчас резко ответил:

— Нет.

И обе они были недовольны, и Вера потеряла сразу все свои мечты, и они с мамой захотели скоро уехать и сказали:

— Ну, мы нагулялись.

— А я—нет,— сказала я.

— И я—нет,— сказал Ульрих.

Холодным стал день, и все мы были разрознены, расстроены, рассеянны, и мама и Вера уехали, тоскуя в четырехместном ландо, а я и Ульрих, вдвоем в первый раз в жизни, ходили до темноты и молчали среди стынувших деревьев.

Я спросила наконец:—Зачем так молчать?—а он ответил:—Нам говорить не о чем.—Зато есть о чем спорить,—сказала я, а он сказал:—Я не могу с вами спорить.—Нельзя выразить, какой страх и волнение и какое величие были в наших сердцах, а кругом—одичание и пустыня раннего октября.

Вся растерянность осени была в последнем небесном свете между осин. Мы искали обрыв и реку и не могли найти. Молчали, пройдя далеко; наконец, он стал, прислонился к дереву и сказал, что у него головокружение. Оттого, что стемнело, вечерняя радость в меня снизошла. Я сняла с него фуражку и надела на свою непокрытую голову и косу перекинула наперед и хвостиком косы обмахнула ему лицо, и он взял меня за косу и за косу притянул к себе мое лицо и тут мы несколько раз поцеловались холодными губами без всякого удовольствия, но с великим ужасом, так как мы были чрезмерно влюблены друг в друга...

Потом до его отъезда еще произошло следующее.

Из гостиной в полуоткрытую дверь я видела объяснение: мама опиралась о край чайного стола и требовала, требовала не знаю чего, но с предсмертным выражением лица. На скатерти, подобной красному и розовому шахматному полю, лежала ничком как мертвая его рука. Я видела только маму и что она повторяла все одно и то же во-

просительное слово. Я поняла, что стоит она как рыцарь в латах перед самой смертью, перед гигантом-рыцарем смерти и с вызовом требует отмены казни. Этих чувств не в состоянии было выразить ее длинное скромное лицо, оно морщилось от стеснения, горя и ужасной заботы, но я, зная свою мать, видела, что она, как рыцарь в латах, слабая и бесстрашная, стоит перед гигантом.

Послышались шаги и я кинулась на диван с безмятежным румянцем на лице, и Ульрих вышел из двери столовой, и, подойдя, стал возле меня и оглянулся на маму. Она прошла в красной вязаной накидке и горько ухмылялась подобно кардиналу Ришелье в предсмертный его час. Она колебалась, уйти ли ей; взгляд Ульриха, гиганта смерти, требовал, чтобы она оставила нас вдвоем.

Поняв, что происходит канун катастроф, мое сердце выгнулось навзничь и замерло. Тогда мама сказала:—Все равно, он завтра уезжает в Петроград и тогда уж всему конец. И будет нечестно, если он тебе этого не скажет.—И она вышла, дрожа от слабости и горя.

Ульрих стоял и глядел на меня и вдруг я чувствую, что сердце мое сорвалось, как акробат с потолка, и полетело вниз, а он протянул ко мне руки и я, встав на колени и подпрыгнув на пружинах дивана, простонала, опускаясь в эти руки,

но он меня от себя отодвинул и я, поправив плоскую диванную подушку, спросила его:—Вы хотите сделать мне предложение?—и он ответил—нет,—тяжело и резко.

Тогда я мгновенно кинулась на диван, вытянулась на спине, сложила руки крестом на груди и сказала: «Пойте со святыми упокой».—Он схватил мои руки, а я повторяла:—я умерла для вас—и пела звенящим голосом:—со святыми упокой, христе, душу рабы твоей,—и не давала ему разжать мои крестом сложенные руки. Он говорил:—не надо! не надо! не делайте этого!—и пришел в исступление, как его сумасшедшая мать и, раз'единив мои руки, отодвинул плечом тяжелый круглый стол, стал возле меня на колени и нагнул ко мне голову и дышал надо мной со стоном, не отпуская моих рук, а я пела тихонько панихиду, все, что помнила, и говорила: «Плачьте», а он отвечал:—«Нет» и скрипел зубами. И было все это так невозможно, что мама даже не вошла, но, конечно, она стояла за дверью и воображаю, что с ней делалось. Смешнее всего, что я под конец упала в настоящий обморок, и так он и уехал, Михаил Ульрих.

Когда он уехал, кончились мои насмешки над всем и над собой, я слышала, что на меня наступает,

счастье, тяжелая крыша горячих туч покрывала мою голову, надвигаясь. Кто знает эту силу и ужас любви в 15 лет, когда движется навстречу счастье, неназываемое словами.

Так я ничего и не знала о тебе, вечная моя благодарность за потерю. Я ходила по улицам и в чужие окна видела свой дом—мой и Ульриха: голый письменный стол и круглый черный хлеб на пустом столе, и стены в лохмотьях обоев и за каждым лохмотом сор штукатурки и райские фантазии.

Мама говорила мне многое о том, что я еще не знаю, до чего я молода и что он не способен глубоко любить и что ему также нравится и Вера; но разве я слышала? Я жмурилась и видела серебряные розы в маминых бледных волосах и желала ей счастья хоть немного. Мне снилось море в виде водяной горы, сияющей склонами, и мы все жили внутри этой горы и Ульрих каждый день дарил маме записные книжки, которые она обожала.

И тут же я продолжала писать детской невинной рукой: о происхождении религии, пункт третий.

Тоска охватывает всю кожу на голове под волосами, как вспомню. В дневнике стоит еще несколько слов о моем сердце и о пуговицах на его сюртуке.

У мамы были прелестные руки дореформенного образца и очень мелкое сложение.

Скатерть снята и на темном лоске стола лежат Известия. Мамины прелестные руки разглаживают газету, а ногти ее синие, а головой она поводит, как упавшая лошадь.

Помню, она неуклюже нагнулась, когда я вошла и сказала ей с какой-то скоростью, но слабо:

— Надя, ты способная и в тебе много хорошего.

— Дорогие родители!—воскликнула я, так как была весела в тот день и в веселости невнимательна:—дорогие родители! Я рада слышать столь необычное признание!

Мама одергивала рукавчики и молчала, в горле ее прохрипело и голова стала никнуть, я испугалась.

— Мама, что такое?—сказала я и схватила газету. Она потянула ее к себе и сказала:

— Подожди,—и слезы ее потекли неудержимо в морщину около сердитого рта.—Вот поэтому я взяла с него слово, ты слышишь, я взяла с него слово, и он обещал мне с тобой не говорить, не читай, я объясню,—говорила она, но я уже читала об участии Ульриха Михаила в проклятом ужасном деле врагов и о высшей мере наказания. И я подняла на нее глаза, и она тотчас перестала плакать и села, а у меня надолго пропал голос.

— И он жил здесь!—сказала я твердым шопотом и мама, глядя на меня в смертельном страхе прошептала:—он был сын тети Альберты.

И я в спокойном ужасе смотрела в моргающие бледные мамины глаза и прохрипела ей на прощание:

— Считайте, что я с вами покончила,— и пошла к двери, и она вдруг закричала мне вслед со злобой:

— Ну, знаешь что, ты не человек, уходи, уж довольно! Всех ты замучила, уходи, уходи, пожалуйста!—и зарыдала.

И еще раз я обернулась и сказала ей сорванным голосом:

— Желаю вам смерти всем. И ушла.

Дальше в дневнике десяток зачеркнутых фраз и на следующей странице пятно разлитых чернил; из-под густого глянца чернил бегут строчки:

«...его видеть. Одной встречи, хотя бы одной встречи, той, о которой стонала тысячу ночей, семьсот тридцать две ночи стонала об этой встрече, которой не будет. Не будет».

И на семьсот тридцать третье утро я получила письмо, написанное им накануне их дела. Вера прислала это письмо мне. Это письмо два года скрывали от меня, и в письме было сказано:

«Такая, как вы, могли быть неправы или даже преступны, как может быть неправа и преступна Ваша революция; но Вам и Вашей революции я страстно хочу отдать жизнь, страстно хочу отдать ее вам обоим, хочу теперь, когда жизнь моя уже взята и кончена, обещана раньше—и потому я молчал. И те, кто не дал мне Вам это сказать, кто сделал с нами эту жестокость, о которой Вы можете быть плачете, Вы (зачеркнуто)—те были правы, иначе было нельзя!»—Дальше все перечеркнуто.

Я прочла. Дрожа и стуча зубами, я стала искать свой старый дневник и тогда я не нашла его и взяла картонку для шляп и на дне ее огромными буквами чернильным карандашом написала: Мих. Ульрих, Коммунист. В. Мир. Рев.

И теперь, когда истинные сыны современности раз'яснили мне все мои ошибки, отчего, постепенно закаляясь, остыло мое сердце, теперь, в тяжкие часы, когда сердце во мне возгорается сызнова, я влезая на диван и касаюсь рукой дна шляпной картонки, запечатлевшей последний след моих заблуждений. И, сойдя на старый ковер, чувствую себя исцеленной, легкой и полной незабываемым холодом новых истин.

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
Потомок Гаргантюа	3
Девушка Ланглуа и ее отец	81
Приключения благочестивой Наннетты Румпельфельд.	117
Мария в аду	184
Мои преступления	237

Цена — 2 р.

Формат 20 к.

КОМ

**СКЛАД ИЗДАНИЯ
ТОРГОВЫЙ СЕКТОР**

Государственного издательства РСФСР

Москва, Центр, Богоявленский пер., 4.

Тел. 2-65-31 и 5 50-80. Ленинград, Ленигиз

Проспект 25-го Октября, 28. Тел. 5-34-18.